

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ПОЭТА



ПОСЛЕДНЯЯ  
ЛЮБОВЬ  
ПОЭТА

Николай  
Раевский

«ЖАЗУШЫ»





**Николай Раевский**

**ПОСЛЕДНЯЯ  
ЛЮБОВЬ  
ПОЭТА**

**ПОВЕСТЬ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»  
АЛМА-АТА — 1969**



**Раевский Николай Алексеевич.**

**Р16 Последняя любовь поэта. Повесть. Алма-Ата.  
«Жазушы», 1969**

224 стр. 50 000 экз. 56 коп.

Николай Алексеевич Раевский, биолог по образованию, известен читателям как автор книги о Пушкине «Если заговорят портреты» и повести-сказки «Джафар и Джан». Оба эти произведения имели успех как у нас в Советском Союзе, так и за рубежом.

Новая книга Н. А. Раевского «Последняя любовь поэта» посвящена великому древнегреческому поэту Феокриту. Это волнующая повесть о последней любви поэта к юной гетере.

Живо и занимательно скомпонованная, «Последняя любовь поэта» содержит вместе с тем множество научных сведений о высокоразвитой культуре эллинистического периода.

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Не будет ошибкой сказать, что в наше время кроме Гомера во всем мире Феокрит — самый читаемый и самый любимый из древнегреческих поэтов.

Но слава Гомера так же стара, как и поэмы, автором которых его принято считать, а Феокрит долгое время был почти забыт. Он жил в III веке до н. э., но лишь двумя столетиями позже грамматик Артемидор и его сын Теон впервые собрали воедино и издали его стихотворения. Подлинная же его слава пришла после того, как давно умерший Феокрит стал учителем великого римского поэта Вергилия.

Отдельные произведения Феокрита, которые еще в древности стали называть идиллиями, переводились на русский язык неоднократно, но единственный полный перевод (А. Н. Сиротинина), вышедший в 1890 году, давно стал библиографической редкостью. Древнегреческий подлинник мало кому был доступен, и основательно ознакомиться с творениями Феокрита могли лишь читатели, знающие иностранные языки.

В настоящее время они стали доступны всем. В 1958 году в издательстве Академии наук СССР вышел новый

перевод всех произведений Феокрита и его греческих подражателей, выполненный лучшим отечественным знатоком буколических поэтов, профессором М. Е. Грабарь-Пассек. Отсылаю к этой книге желающих прочесть идиллии Феокрита и познакомиться с современным состоянием науки о нем.

Тех, кто пожелает прочесть и мою повесть о великом греческом поэте, прошу помнить, что биографии Феокрита мы фактически не знаем. По-видимому, его жизнеописание не существовало и в древности. То немногое, что известно о жизни основателя буколической поэзии, сводится к нескольким фактам, упомянутым в идиллиях, и к кое-каким ненадежным утверждениям позднейших комментаторов — схолиастов. Они знали о жизни Феокрита, вероятно, больше, чем знаем мы, но все же знали, по-видимому, очень мало.

Таким образом, написать биографическую повесть о Феокрите невозможно. Однако каждый, кто внимательно прочел или прочтет его идиллии, согласится с тем, что образ их творца сам собою проступает на фоне его блистательных стихов. Еще римский поэт I века н. э. Марциал сказал: «*Notinet pagina nostra sapit* — в Феокрите чувствуется человек». Каждый читатель, конечно, воспринимает этот человеческий образ поэта по-своему.

Каким увидел его я, таким и изобразил. Предшественников у меня в этом отношении, кажется, не было. В русской литературе, насколько я знаю, нет произведений, героем которых являлся бы Феокрит. Мне не приходилось их встречать и в литературе других стран. Мне ясны трудности, связанные с этой попыткой, и неизбежные недостатки повести, в которой слишком часто приходилось давать волю воображению там, где хотелось бы исторической правды.

Ограничусь немногими примерами. Года рождения Феокрита мы не знаем. Можно лишь утверждать, что он родился около 300 года до н. э. Неизвестен и год смерти поэта. Некоторые идиллии (особенно XXX) позволяют думать, что он дожил до пожилого возраста, хотя далеко не все исследователи с этим согласны. Если верить одной из схолий, то Феокрит умер даже глубоким стариком.

Пользуясь тем, что вопрос о продолжительности жизни

ни поэта остается открытым, я представил его человеком, близким к старости, но, быть может, когда-либо станет известным, что он умер значительно раньше.

Феокрит был гражданином Сиракуз, несомненно, жил на острове Косе, в Великой Греции (Южной Италии), в Александрии, навещал в Милете своего друга, врача-поэта Никия. Быть может, побывал и в других местах, упомянутых в его идиллиях, например на берегах Геллеспонта (Дарданелл) и Пропонтиды (Мраморного моря) (идиллия XIII), на горе Иде (идиллия XVII) и т. д.

Утверждать этого, конечно, нельзя. Предполагать в литературном произведении, я думаю, допустимо. Действие моей повести происходит главным образом в городе Лампсаке, у выхода из Геллеспонта в Пропонтиду.

Точно также является литературным вымыслом путешествие молодого Феокрита в Афины. Возможно, что жизнелюбивый, эрудированный и немало ездивший по свету поэт действительно посетил славный город, но упоминаний об этом нет нигде.

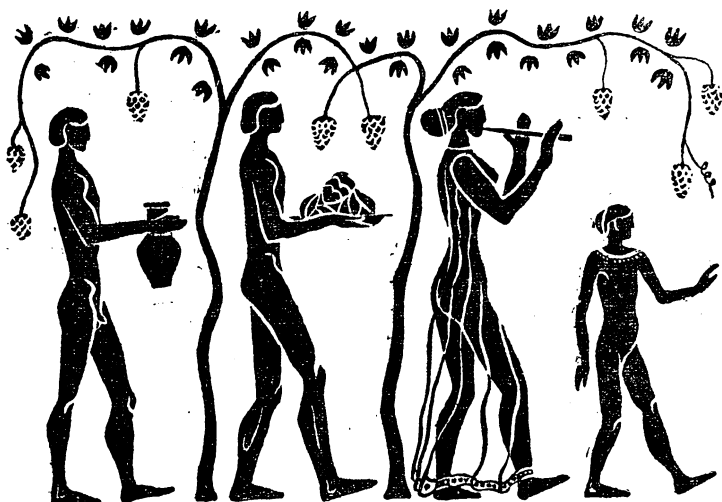
Еще раз прошу читателей не принимать мою повесть о днях Феокрита за отрывок его романизированной биографии, которой построить нельзя.

Я снабдил повесть необходимыми, на мой взгляд, примечаниями, но, за немногими исключениями, не привел ссылок на использованную литературу. Для знакомых с эллинистической эпохой они не нужны, для остальных, вероятно, затрудняли бы чтение.

Николай Раевский.







*Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?*

*Пушкин.*

I

Гости кончили есть. Прислужники — эфебы унесли грязную посуду. Разобрав приготовленные в дальнем углу метлы из свеженарезанных ивовых ветвей, быстро вымели из-под столов обглоданные кости и хлебные корки. Усыпали узорчатый каменный пол перистилия\* терпко пахнущей мятой и желтыми звездочками душистого жасмина. Потом, вымыв руки, внесли амфоры\*\* с вином хиосским, лесбосским и критским, кратеры\*\*\* с ключевой водой, амфоры с медом, десятки расписных чаш, лекифы — кувшинчики с розовым маслом, искусно сплетенные корзинки, полные слоеных пирожков, яблок, фиников, орехов и фиг. Расставили по столам сыры, вазы с оливками и персидские блюда из червленого серебра, на которых домоуправитель разложил восточные пряности.

\* Внутренний двор, окруженный колоннами.

\*\* Кувшины с двумя ручками.

\*\*\* Большие сосуды для смешиванья вина и воды.

Философ-эпикурец Неофрон, дававший пир в честь своего приятеля — поэта Феокрита, был хозяин рачительный и опытный. Даже кратер с морской водой велел приготовить на тот случай, если кому-нибудь из гостей взбредет на ум портить вино соленой влагой. Разные ведь вкусы бывают...

Сам Неофрон, хотя и не был скуп, никогда не прибавлял к вину ни розового масла, ни пряностей. Любил во всем древнюю простоту. За большие деньги покупал старинные вазы и чаши, которые лет двести тому назад искусные ремесленники покрывали черным лаком и, постепенно удаляя его, превращали нежно-красный фон в изображение богов, героев, морских чудовищ или в процессии девушек-канефор. Теперь делают другие... Черно-белые еще недурны, но чаще всего пестрые — там и синий, и ярко-желтый, и красный, и червонное золото. Словно пестрые азиатские ткани, в которые сейчас одевают рабов на богатых пирах, особенно в Александрии. У Неофрона эфебы прислуживали нагими, как было в обычае во времена Софокла и Платона. Им полагались простые венки из тонких ветвей горного дуба, а гостям перед началом симпозиа\* подносили плоские корзины с венками цветочными.

Был самый конец месяца элафеболиона\*\*, дни стали жаркие, но розы в Лампсаке\*\*\* еще не распускались. Зато нарциссы, гиацинты, фиалки, жасмин в изобилии цвели в саду Неофрона, и в день пира рабы-садовники под вечер принялись опустошать грядки. Нарезали заодно и миртовых ветвей, и масличных, и побегов серебристого тополя — каждый из гостей мог выбирать, что ему понравится.

Пришлось Неофрону позвать на пир и гетер, и музыкантов, и танцовщиц. Охотно бы обошелся и без них — умели же в старину беседовать без этой визгливой и дорогостоящей оравы, — но ничего не поделаешь... Теперь без женщин и пир не пир. И хозяин заранее разослал по городу рабов предупредить кого нужно, чтобы были свободны в этот вечер. К гетере Миртилле пришлось пойти самому. Она недавно еще из Афин, свобод-

---

\* Застольная беседа по окончании еды.

\*\* Март-апрель.

\*\*\* Город на малоазиатском берегу Геллеспонта (Дарданелл), древняя колония фокейцев.

норожденная, поклонников столько, что тростниковый коврик перед дверью, говорят, всегда истерт. Послать раба,— пожалуй еще обидится и не придет, а другой такой в Лампсаке нет. Неофрон вспомнил, что сам Эпикур любил беседовать со своей подругой и ученицей гетерой Леонтион. Миртилле, правда, до писательницы Леонтион очень, очень далеко. Кажется, и читает-то с грехом пополам, но и он ведь не Эпикур... Пошел, пригласил. Обещала прийти и пришла вовремя, еще до начала симпозиа. Ожидая в задней комнате, когда позовут к гостям, болтала по-приятельски с гетерами-рабынями, с кифаристками, настраивавшими свои инструменты, с танцовщицами, пробовавшими кастаньеты. Поправила растрепавшиеся волосы девочке-акробатке, посоветовала флейтистке не растопыривать локти. Перед тем как войти к пирующим, еще раз посмотрелась в серебряное зеркало, которое держала ее собственная служанка.

После полутемной комнаты освещение перистилия, обращенного в пиршественный зал, показалось таким ярким, что Миртилла прищурила глаза. Четыре высоких канделябра, расставленных между ложами гостей, горели желтыми беспокойными языками. Перистиль был полон дрожащих теней. Они скользили по плитам пола, по колоннам, с трех сторон опоясывавшим двор. Тени оживили своей пляской и стены дома за колоннами. Лампы, подвешенные вдоль карниза, Миртилла заметила не сразу. Они светились неяркою вереницей среди дубовых гирлянд, словно вылитых из темного металла. С мраморного жертвенника клубами поднимался синеватый дым. По обеим сторонам жертвенника стояли наготове две флейтистки со своими инструментами.

Чувствуя на себе взгляды нескольких десятков мужчин, гетера подняла голову и, ни на кого не глядя, направилась в глубину зала. Ноги, обутые в мягкие позолоченные сандалии, ступали легко и неслышно. За ней вереницей шли остальные женщины. Миртилла знала, что сейчас гостям еще не до них. Подозвать никто не отважится, чтобы не обидеть хозяина. Стоя у жертвенника, Неофрон ждал, когда можно будет начать речь.

Миртилла попробовала рукой колонну — не пачкает ли известь. Приподняла легкую ткань тарантидиона\*,

---

\* Вид длинного нарядного плаща из легкой материи.

присела на базис колонны рядом с флейтисткой. Камень холодил. От тела соседки шло живое тепло. Афинянка при случае не прочь была послушать умное. Слуха на этот раз напрягать не пришлось. Неофрон говорил громким, уверенным голосом:

— ...Душа есть, но она смертна. Она подобна легчайшему невидимому пару, и частицы пара, вылетев из сосуда, рассеиваются в воздухе, так и душа наша, покинув тело, вовсе перестает существовать. И не печалиться надо этому, а радоваться. Мысли о мнимой вечной жизни — это черви, которые поедают цветы нашей подлинной, радостной единственной жизни. Я уверен в том, что после смерти для нас нет ничего — ни загробной жизни, ни загробных мук...

Недовольный надтреснутый голос прервал хозяина:

— А боги?..

Миртилла увидела, что с ложа приподнялся высокий седоволосый человек с узким миртовым венком на голове.

— Боги... Боги есть, Филоксен, но ты знаешь что мы о них думаем. Богам нет дела ни до нас, людей, ни до мира. Боги сами по себе. Вселенной они не создали и ею не управляют. Они пребывают в извечном покое. Я не хочу его нарушать и досаждать небожителям возлияниями и молитвами. Все равно ведь не помогут...

Богов я не потревожу. Я совершаю возлияние в память Эпикура, незабвенного нашего учителя, в память того, кто объяснил людям радости жизни и освободил их от страха смерти.

Пусть его золотые изречения живут вовеки!

Пусть слава его растет, доколе существует человеческий род!

Протяжно зазвучали флейты. Неофрон наклонил фиал\*. Зашипели угли. Над жертвенником поднялось белое облако пара. Подождав, пока оно рассеялось, хозяин снова обратился к пирующим:

— Я знаю, друзья, что многие из вас со мной не согласны... В этом зале у всех равные права. Пусть же каждый, кто желает, совершит свое возлияние. Мы слушаем...

---

\* Плоская чаша без ручек для торжественных возлияний в честь богов.

Миртилла недовольно повела плечами. Сколько же тут еще сидеть?.. Холодок весенней ночи начал донимать едва прикрытое тело, и она прижалась вплотную к соседке.

К алтарю подошел тот строгий старик в миртовом венке. Кашлянул. Заговорил медленно и наставительно.

— Вселенная пропитана единым разумом, как губка водой. Я верю и знаю, что миром правит логос — живая разумная сила, которая непрерывно творит. Логос — это душа мира. Наши души — только временно оторвавшиеся частицы ее. Прежде чем эти частицы вступят в общение, прежде чем мы начнем наш симпозиум, я хочу почтить возлиянием божественный логос, сперму мира, которая определяет форму всего сущего от комара до звезды!..

Снова зашипели уголья, и над жертвенником поднялось белое облако. Старик, покашливая, вернулся на свое место, а к жертвеннику уже спешил юноша лет двадцати в венке из нарциссов и ветвей серебристого тополя. Он поклонился пирующим и вопросительно посмотрел на хозяина.

— Говори, Херсий! Стоя сказала свое слово — теперь очередь за Ликеем\*...

Юноша взял с ближайшего стола цветок нарцисса и, держа его перед собой, начал неуверенным, срывающимся голосом:

— Во всем живущем есть душа. Вот и этот нарцисс — он родился из семени, рос, расцвел... Теперь скоро умрет, как умирает бык на бойне, как умирает ласточка в когтях сокола, как умирает воин, забытый на поле битвы. Пока же он еще жив. Жив... Значит, и в нем есть душа, превратившая землю и воду в белые душистые лепестки... — Голос юноши стал увереннее. — Пройдет тысяч десять лет, и нарциссы станут еще прекраснее. Станут лучше и люди, потому что все живое стремится к совершенству, к вечной красоте, к божеству. Я совершаю возлияние в честь вечного разума, создавшего материю и давшего вселенной первый толчок!

В третий раз над жертвенником взвился белый пар и медленно растаял в воздухе. Миртилла, хотя ее все больше и больше пробирали дрожь, внимательно выслу-

---

\* Школа Аристотеля.



шала речь юноши. Понравилась его взволнованная скромность, большие блестящие глаза, румянец во всю щеку. Но еще больше гетере понравился высокий, статный мужчина лет тридцати, который подошел к алтарю вслед за Херсием. Прежде чем он начал свою речь, Миртилла привычным взглядом заметила, что его лоснящийся подбородок, только что выбрит, на длинных пальцах поблескивают перстни, а складки гиматия\* собраны, как у статуй в афинских храмах. И у жертвенника он стал не как другие, а наподобие некоего бога или героя, — голова высоко поднята, одна рука поддерживает снежно-белый гиматий, другая простерта к слушателям. Красивый мужчина несколько мгновений молчал, дал на себя посмотреть и затем начал звучным, бархатистым голосом:

— Друзья, я не философ, я, как вы знаете, актер.

Миртилла усмехнулась. Шепнула флейтистке:

— Мог этого и не говорить. Сразу видно.

Актер продолжал:

— Я и половины не понял из того, что здесь сказали Неофрон, Филоксен и Херсий. Не моего ума дело... Но вы-то поймете меня, друзья, если я скажу, что я верю не в мировой разум, не в бесчувственных далеких богов, которым нет до нас дела. Нет, я просто верю в эллинских богов, в богов, которых воспел Гомер и ваял Фидий. Верю в Зевса, владыку мира, в Аполлона, вдохновителя искусств, в Деметру, подательницу урожая... Но сегодня я хочу почтить возлиянием не их, а того могучего бога, которому подвластны и животные, и мы, смертные, и сами небожители. Хочу почтить Эрота. Вы помните, что говорил о нем Софокл?..— Актер сделал паузу. Стал вполборота к жертвеннику и, набрав воздуха, принялся читать негромким проникновенным голосом, словно обращаясь к прилетевшему богу:

Эрос, бог всепобеждающий,  
Бог любви, ты над великими  
Торжествуешь, а потом,  
Убаюканный, покоишься  
На ланитах девы дремлющей,  
Пролетаешь чрез моря,  
Входишь в хижину убогую.  
Ни единый в смертном племени,  
Ни единый из богов,  
Смерти чуждых, не спасается,

---

\* Верхняя одежда, род плаща.

Но страдают и безумствуют  
Побежденные тобой.

• • • • •  
И единый взор, сияющий  
Меж опущенных ресниц  
Юной девы, полный негою,  
Торжествует над законами  
Вековечными богов,—  
Потому что все живущее,  
Афродита, вечно юная,  
Побеждаешь ты, смеясь!\*

Хвала тебе, Эрот-победитель! Ты мучишь богов и людей, но без этих мучений не стоило бы жить!..

Миртилла забыла о холоде. Ей хотелось крикнуть — верно! Так хорошо, понятно говорил этот человек, и стихи такие хорошие... Непременно надо подсесть к нему.

Когда возлияния кончились и хозяин дома дал знак гетерам подойти к гостям, Миртилла, заранее улыбаясь, направилась в ложу актера. Неофрон, следивший за ней, едва успел остановить непослушную афинянку. Беспорядка он не терпел. Нагнувшись к уху Миртиллы, властно прошептал:

— Забыла, что ли?.. Вот Феокрит — садись!

Улыбка погасла. Губы гетеры недовольно сжались. Хотелось выругаться, но Миртилла привыкла сдерживать свои чувства. Иначе не проживешь... Снова улыбнулась — невесело, неискренне, но все-таки улыбнулась. Знала, что особенно нравятся мужчинам — и молодым, и старым — ее прекрасные ровные зубы.

Почетный гость, к которому пришлось подойти Миртилле, был не молод. Гетера сразу заметила, что виски у него сильно тронуты сединой, но глаза показались молодыми. Смотрели на подошедшую женщину внимательно и весело. «Должно быть, добрый...» — подумала Миртилла и, быстро сняв позолоченные сандалии, присела на край ложа Феокрита. Скамеечка для ног попалась удобная — как раз по росту. Миртилла оправила тарантидион. Еще раз внимательно посмотрела на поэта. Мужественное спокойное лицо было ласково и просто. Загорелая, обветренная кожа совсем не походила на старческую. Только от углов веселых глаз чуть заметными веерками расходились светлые морщинки. В ответ на пытливый

---

\* «Антигона», эпизодий III, стасим III (перевод Д. С. Мережковского).

взгляд женщины Феокрит приветливо кивнул. Сильной теплой рукой слегка прикоснулся к обнаженному плечу Миртиллы. Ее улыбка на этот раз не была куплена на хозяйские деньги.

Когда Неофрон предложил совершить возлияние всем желающим, Феокрит приготовился скучать. Вместо привычного короткого обряда в честь доброго демона сразу же речи, речи... К счастью, лампакские философы говорили куда короче, чем их собратья в Сиракузах и в Александрии. Поэт слушал, задумчиво поглаживая бело-черно-рыжую кошку, прыгнувшую на его ложе. Изогнувшись дугой, тихо мурлыча, она терлась головой о хитон, щекотала шею распушенным хвостом и все ждала, когда же ее покормят. Так и не дождалась. Пришлось перепрыгнуть на соседнее ложе. Загорелый ласковый человек не заметил ее исчезновения. Быстро забыл он и об юной женщине, сидевшей у него в ногах. Молча прислушивался к начавшейся беседе гостей. Думал свое.

Мерным глуховатым голосом говорил престарелый стоик Филоксен.

— Как и твой учитель Эпикур, ты думаешь, Неофрон, что все существующее состоит из первоначальных телец. Ваших атомов, не забывай, никто не видел и никогда не увидит. Выдумал их Демокрит, а вы все повторяете за ним. В эти невидимые атомы я не верю, но я знаю другое. Наша земля — один из атомов божьего тела. И звезды, которые горят над нами, тоже божественные атомы, ибо мир и есть бог. Но вселенная не мертвый бог. Она не беспорядочна, не бездушна. Она и материя и дух в одно и то же время. Единая стихия, пропитанная единым разумом.

— Извини мою молодость, Филоксен, но твой бог все-таки мертвый. Мертвая вода.

— Нет, Херсий, логос — живая разумная сила, которая непрерывно творит. Я уже сказал, что он есть часть и целое, начало, середина и конец. Логос...

— Ой, ой, ой... Не понимаю тебя, Филоксен, да и вряд ли ты сам себя понимаешь...

— Не перебивай, Неофрон, не перебивай. Поразмысли, как следует, если тебе непонятно. Только речи рыночных торговков размышления не требуют.

— Филоксен, и сегодня и всегда я слушаю тебя так же внимательно, как прилежный школьник учителя, но

непонятное остается непонятым. Или часть, или целое, или начало, или конец... Не понимаю, не понимаю...

Над головами пирующих на темном прямоугольнике неба сквозь весеннюю влажную дымку мягко мерцали звезды. Атомы божественного тела... Феокрит внимательно посмотрел на умолкнувшего Филоксена. Старик чинно возлежал на своем ложе и медленно потягивал вино из старинной, краснофигурной чаши. Венок из темно-зеленых мирт казался почти черным на его снежно-белой голове. Атомы божественного тела... Кажется, это его собственное. Ни у Зенона, ни у Клеанфа ничего подобного нет. Разве что у Хрисиппа. Поэт улыбнулся. Знал, что Хрисипп написал неимоверно много — не то семьсот сочинений, не то восемьсот. Так и говорят о нем: «Без Хрисиппа нет и Стои». Но не полагается ведь стоикам говорить об атомах, даже о таких вот громадных, небесных, совсем на первичные тельца не похожих. Но если бог есть мир, а мир бесконечен, то почему, в самом деле, не считать, что земля...

— Люблю философов, не люблю философии...

Феокрит повернул голову. А, это она шепчет... Все еще тут. Соскучилась, должно быть. Улыбается. Большие черные глаза задорно блестят. В волосах зелеными огоньками переливаются изумруды на крыльях золотой бабочки. Какая она, однако, легкая, стройная... Сама точно бабочка, присевшая отдохнуть.

Чтобы не мешать спору философов, поэт нагибается и тоже шепчет:

— Как тебя зовут?

— Миртилла.

— Хорошее имя... Так ты не любишь философии, Миртилла?

— Не люблю.

— Зря... Разумная философия — лекарство от всех недугов.

— Например, от чесотки?

— Во всяком случае, от душевной чесотки.

— Ну, хорошо. Но ты говоришь о разумной философии, а как же я-то, бедная, отличу разумную от безумной?

Феокрит рассмеялся. Бойкая она... Сама легкая, и ум у нее, видно, легкий. Хотел было продолжить болтовню, но не удалось. Хозяйский глаз Неофрона уже давно заметил непорядок. Пир в честь приезжего гостя, фило-

софы спорят на славу, а Феокрита словно и в зале нет. Как будто бы слушает, а может быть, и не слышит ничего. Беда с поэтами... Ну вот... Совсем уже неподобающее дело. Вместо того, чтобы принять участие в беседе, шепчется с гетерой. Повеселел. Гладит ей руку. Рано же еще. Неофрон решил, что пора вмешаться. Улыбнувшись Феокриту, поднял килик — плоскую чашу.

— Друг наш, ждем твоего слова!

Головы поворачиваются. Тени чаш и рук мечутся по стенам, по колоннам, по полу. Голоса перебивают друг друга.

— Да, да... Ждем. Обрадуй нас, Феокрит!

— Ждем, как козы весны.

— Как цикады лета.

— Как воины добычи.

— Как голодные души праздника антесферий\*.

Нечего делать, придется-таки говорить. И эта егоза тоже подзадоривает шепотком:— Дорогой гость, скажи что-нибудь непонятное...

Успел шепнуть:

— Понятное лучше. Слушай...

## II

Феокрит улегся поудобнее. Поправил венок. Обвел глазами пирующих.

— Друзья, моя речь будет о звездах, если только они вам сегодня еще не наскучили.

— Звезды не могут надоест, Феокрит!

— Они прекрасны, но я бы, например, не мог глазеть на них ночи напролет. Прежде всего люблю землю и все, что есть на земле. Сегодня все же хочу вам рассказать о новом созвездии...

— О новом? Светила ведь давно на местах.

— Подождите... Вот в том то и дело, что совсем недавно, в прошлом году, астрономы нашли новое. По крайней мере, так уверяет мой александрийский друг Конон, а кому же знать звезды, как не ему. Больше двадцати лет состоит придворным звездочетом.

---

\* На третий день этого ранневесеннего праздника приносились жертвы Гермесу и душам умерших.



Так вот слушайте, что случилось недавно у нас в Александрии. Вы, конечно, знаете, что царь Египта в прошлом году самолично отправился воевать в Сирию\*. Знаете ведь? Тяжелый был поход, опасный. Неприятель — неприятелем, а кроме того лихорадки, змеи, песчаные бури. Молодая царица Береника словно предчувствовала, как это там будет. Провожая мужа, плакала, точно над покойником. Жаль было смотреть. Простились наконец, войско ушло, а она плачет и плачет. День, другой, третий... Пришлось врачам ее припугнуть. Не перестанет лить слезы — ослепнет. Береника послушалась, распухшие глаза пришли в порядок, но ходила она по-прежнему грустная. Ни с кем почти не разговаривала. Все молилась в храме Афродиты.

— Вот, наверное, жрецы-то заработали...

— Не без этого. Царские молитвы — дело прибыльное. Только и неприятность у жрецов вышла великая. Больше, чем неприятность... Перепугались до одури. У царицы, надо сказать, были прекрасные густые волосы. Обыкновенно она заплетала их в две косы, перевитых жемчужными нитями. Однажды, смотрим — кос нет, а на голове шелковая повязка. Оказалось, Береника пришла в храм с золотыми ножницами, собственноручно обрезала косы и возложила их на алтарь, чтобы вымолить у богини возвращение мужа.

— Жрецы предпочли бы что-нибудь подороже.

— Да, Неофрон, но не забывай, что царица прежде всего женщина. Для нее косы были дороже всех драгоценностей. Правда, Миртилла?

— Правда... Я бы ни за что...

— Значит, ты еще не любила по-настоящему. Слушайте же... Тут-то и приключилось в храме несчастье. Поутру жрецы приходят сменить цветы на алтаре, а царицыных волос нет...

— Скверная история, но звезды-то тут при чем?

— Погодите, друзья, не перебивайте... Жрецы были в отчаянье. Хотели было остричь одну из храмовых прислужниц, но, как на зло, волосы у всех оказались дрянные — Береника сразу бы заметила. Главный жрец решил тогда посоветоваться с Кононом — они с астрономом

---

\* Этот поход Птолемея Эвергета против войск Селевка II состоялся в 246 году до н. э.

старые приятели. Мальчишками вместе таскали фиги из сада какого-то философа... Конон обещал поразмыслить. Пока что попросил врача каждое утро навещать царицу, найти у нее какую-нибудь болезнь и посоветовать дватри дня побыть дома. Астроном, впрочем, извернулся быстрее. Ночь просидел в своей башне, потом выпался; а после обеда пришел к царице с докладом. Сказал, что боги оценили величие ее жертвы. Вознесли отрезанные косы на небо и обратили их в созвездие. Он, Конон, только что обнаружил его между Львом и Волопасом.

— Что же царица?

— Поверила или сделала вид, что поверила. Приятно ведь — сколько существует мир, ни у одной смертной волосы на небо не возносились... А теперь — самое-то забавное — Конон по секрету мне признался, что в конце концов косы Береники отыскались на земле. Их украли мальчишки, сыновья храмового сторожа.

— Им-то зачем?

— Понаделали тетив и били из луков сусликов.

В перистиле раздался веселый смех. Глуховатый старец Филоксен не расслышал последних слов Феокрита, но, боясь обнаружить свой недостаток (о котором все давно знали), не решился переспросить. Смеялся чинно, как чинны были все его слова и дела. Веточки мирты мелко дрожали на трясущейся голове стойка.

— Вот, друзья,— продолжал Феокрит,— мой рассказ о звездах. Астрономии я не изучал. Кое-что, может быть, перепутал. Но, если по окончании пира мы сможем отличить звезды от ламп, я все-таки покажу вам к востоку от Льва Волосы Береники. Сами убедитесь, что они теперь на небе.

Неофрон, с наслаждением слушавший рассказ знаменитого приятеля, снова поднял чашу.

— Спасибо, Феокрит! Пусть судьба пошлет тебе еще столько лет, сколько волос царицы украли мальчишки.

— С меня хватит столько дней — толстые были косы... Да, забыл вам сказать, всю эту историю Каллимах уж описал в стихах\*.

— Почему же не ты, Феокрит?

— Я?.. Я недостаточно учен. Запутался бы в царицыных волосах. Не астроном я и не царский библиотекарь.

---

\* Это стихотворение известно в латинском переводе Катулла.

— А все-таки у тебя вышло бы лучше.

— Не знаю, Неофрон, не знаю... Каждому свое.

Как почти всегда на пирах, беседа мало-помалу стала превращаться в веселую болтовню. Хозяин знал, что это неизбежно, но ему хотелось еще раз показать Феокриту, что, хотя Лампсак не Афины и не Александрия, а философствовать и здесь умеют. Он приказал снова наполнить чаши. Провел ладонью по курчавой бороде, которую носил, как было принято в старину. Кашлянул. Пирующие умолкли.

Вино, по мудрому обычаю больше чем наполовину разбавленное водой, еще не успело безраздельно овладеть умами и языками.

— Часто, очень часто,— начал Неофрон,— я жалею о том, что не родился лет так на двадцать раньше. Когда Эпикур оставил наш город, меня еще и на свете не было. Встретиться я с ним в юности, все бы бросил и уехал вместе с ним в Афины...

— Где учитель угощал бы тебя ячменной кашей и студеной водой\*...— Херсий пробормотал эти слова тихо, но внятно. Вино придало ему смелости. Неофрон сделал вид, что не расслышал. Спорить не хотелось.

— И как я завидую Филоксену. Шестьдесят лет тому назад, когда мудрейший из людей покинул Лампсак, наш старший друг был уже почти взрослым...

— Да, мне скоро восемьдесят... Помню Эпикура, хорошо помню. Учителемствовал у нас несколько лет. Не мудрейший из людей, но хороший человек, настоящий человек. Скромный такой, ласковый, хотя лицо и суровое. Потом, говорят, он стал самоуверенным, всех философов ставил ни во что, но в Лампсаке этого не было. Часто по вечерам приходил на площадь, садился на каменную скамью под платаном и беседовал с кем придется. Говорил спокойно, просто. Мы, молодые, слушали, сидя на камнях. Платан, вы знаете, совсем не изменился с тех пор, только корни еще сильнее повылезли из земли. Надо бы переставить скамейку, а то они в конце концов ее опрокинут. Да, хороший был человек. Побольше бы таких...

---

\* Вопреки очень распространенному мнению, Эпикур учил, что умение довольствоваться необходимым является великим благом и путем к истинному счастью.

Неофрон выждал, пока старик кончит и, по привычке, снова огладив бороду, продолжал:

— Будь учитель сегодня среди нас, и он с удовольствием выслушал бы твой рассказ, Феокрит. Какой прекрасный пример низкопоклонства, суеверия и глупости! Воистину жалок род людской... Стоит умному обманщику выдумать историю позамысловатее, да такую, чтобы угодить царям, и все ему верят. Если и не все, то многие... Боги да боги... Всюду боги. Порядок в природе — боги его, видите-ли, поддерживают; беспорядок — они же нарушают собственные законы. Не хотят люди понять, что богам ни до них, ни до мира нет дела. И хорошо, что так — спокойнее... Простите меня, друзья,— я повторяю то, о чем уже говорил сегодня, но для меня это самое главное. Пусть боги существуют, пусть они бессмертны, но для нас-то, людей, бессмертия нет, и, значит, нечего бояться смерти. Душа рождается вместе с телом и вместе с ним умирает. Никакой загробной жизни — ни блаженства, ни мук.

Феокрит знал, что речь Неофрона для него. Делал вид, что внимательно слушает приятеля, но ему становилось всерьез скучно. Всюду одни и те же речи — и в Афинах, и в Александрии, и в Сиракузах, и недавно в Милете. Говорят, говорят, спорят, спорят... Кажется, один Сократ был прав — никто ничего по-настоящему не знает... Хорошие люди философы, но разговоры о жизни любят больше самой жизни. Хотят переделать ее каждый по-своему, а ведь жизнь прекрасна, как она есть... Эпикурейцы все же лучше других. Меньше мудрят...

— Люблю философов, не люблю философии...

Опять она свое. Допила килик, осторожно поставила на стол. Черные глаза блестят еще сильнее. От стройного тела пахнет розовым маслом. Должно быть, любит разных зверюшек. В волосах бабочка, тарантидион застегнут на плече золотой черепашкой. Славная черепашка, маленькая, с жемчужными глазами... И плечо коричнево-загорелое. Видно, она не боится солнца, как другие гетеры. Понимает, что так лучше...

В груди у стареющего поэта поднимается радостная волна. Вместо голоса Неофрона, который все еще говорит о борьбе со страхом смерти, Феокрит слышит собственные стихи:

Ах, моя прелесть, Бомбика! Тебя сирианкой прозвали,  
Солнцем сожженной, сухой, и я лишь один — медоцветной,  
Темен цветочек фиалки и цвет расписной гиацинта...\*

Он улыбается. Снова проводит тяжелой ладонью по тонким пальцам гетеры. Шепчет на ухо:

— Миртилла, твоя чаша пуста, моя тоже. Позови-ка виночерпия!

— Я сама, Феокрит. Позволь мне быть твоей служанкой, прославленный гость.

— Ты больше похожа на Афродиту, чем на служанку.

— Не говори, не говори так — богиня прогневется...

Соскочила с ложа, не надевая сандалий, быстро и осторожно пробирается между гостями. Тарантидион вьется голубым облаком. В волосах переливаются зеленые огоньки. Миртилла довольна. Миртилла горда. Об актере больше не думает. Успеется... Все хорошо — только бы Афродиту не прогневать...

В зале становилось шумно. Неофрон почувствовал, что общей беседе пришел конец. Он дал знак эфебам, и юноши тотчас же снова принялись за уборку. Смели остатки растоптанной зелени и цветов. Разостлали перед пирующими большой квадратный ковер из толстого холста с узорами, вышитыми цветной шерстью. Опрыснули его душистой водой. По углам поставили еще четыре только что заправленных канделябра. И свет и тени стали резче. Загорелые, натертые маслом тела эфебов блестели, словно бронзовые статуи. Музыкантши, усевшись на низких стульях, пробовали свои кифары\*\*, тригоны\*\*\* и авлосы\*\*\*\*. Разговоры стихли. Пирующие ожидали появления танцовщиц. Они выплыли из темной глубины двора дружной белой вереницей и плавно закружились на ковре, то расходясь, то снова сплетаясь в гибкий хоровод. Под ударами плектров\*\*\*\*\* струны кифар звенели негромко. Авлосы пели вполголоса. Женщины бесшумно скользили по коврам, как осторожные птицы. Потом звуки полились быстрым говорливым потоком и хитоны танцовщиц заколыхались, подолаы взвились, словно их

---

\* Все цитаты из Феокрита приведены в переводе М. Е. Грабарь-Пассек («Феокрит. Моск. Бион. Идиллии и эпиграммы». М., 1958).

\*\* Струнный щипковый инструмент (в эту эпоху 18 струн).

\*\*\* Многострунная арфа.

\*\*\*\* Род флейты.

\*\*\*\*\* Палочка из слоновой кости для игры на кифаре.



раздувал ветер. Перед гостями носилась встревоженная стая, вот-вот готовая улететь. Но струны тригонов и кифар стали звучать спокойнее, утихомирились авлосы и, повинувшись музыке, танцовщицы неторопливо свились в венок. Порой он распадался на части, переставал существовать и снова возрождался — гибкий, скользящий, неистребимый, как само движение.

Когда утомленные танцовщицы закружились белым вихрем и потом неожиданно исчезли в темноте, гости долго не хотели успокоиться. Хлопали в ладоши, кричали, требовали повторения. Неофрон пошел было распорядиться, но усталые вспотевшие женщины тяжело дышали и жадно пили холодную воду. Одна в изнеможении лежала на полу, и подруги старались привести ее в чувство.

Неофрон нахмурился, но тотчас же вспомнил, что учитель, наверное, назвал бы его досаду вовсе не достойной философа. Велел принести танцовщицам большую амфору хиосского, а к заболевшей позвать врача.

Пирующие наконец утихомирились. Под звон тригонов на ковер выпорхнула нагая девочка-акробатка, вся усыпанная золотой пылью. С разбега дважды перекувыркнувшись в воздухе, стала на руки и быстро пошла по кругу, старательно улыбаясь зрителям.

Пир продолжался. Гости вставали, присаживались на чужие ложа, ласкали полураздетых гетер. Эфебы снова и снова разносили чаши. Весеннего холодка никто больше не чувствовал. Пьяных не было, но вино все больше и больше разогревало и старых и молодых. Даже голым прислужникам было тепло — в зале рабы пить не смели, но в одной из задних комнат для них были приготовлены кратеры с сильно разбавленным вином. Неофрон был строг, а порой и жесток, но любил, чтобы на пирах и слугам было весело. Только домоуправителю, пожилому степенному рабу, он наказал быть трезвым, совсем трезвым до самого конца пира. Ему надлежало смотреть за эфебами, чтобы не напились допьяна, а то разобьют, чего доброго, старинную чашу или амфору.

Все почти пирующие давно сняли гиматии. У молодых горела кровь. Гетеры сидели в одних цветистых полупрозрачных хитонах. Миртилла тоже отдала служанке свой тарантидион из драгоценного сирийского шелка. Неровен час — зальют вином или изорвут. Здесь,

правда, не пирушка с озорниками-купцами. У них Миртилла, как свободнорожденная, когда приходило время, переодевалась в хитон из простого полотна, а на гетерах-рабынях не оставалось ничего. Философы — люди обходительные, чинные, но и с ними, когда выпьют, надо быть осторожной. Мужчины ведь...

От выпитого вина у Миртилле горели щеки. Смеялась звонко и весело. Чувствовала, что нравится Феокриту. Нравится и юноше Херсию, который примостился на скамеечке у ее ног. Несколько раз чернокудрая голова двадцатилетнего философа оказывалась на теплых коленях гетеры, едва прикрытых почти прозрачной косской тканью, но Миртилла, посмеиваясь, брала юношу за уши и заставляла сесть, как подобает. Весело было и ей, и Херсию, и Феокриту. Говорили о философии, как говорят в конце пира, когда гетер начинает интересоваться бессмертием души, а философов — цена на румяна.

— Поверь мне, Миртилла, не у тебя одной есть душа. И у нарцисса она есть, на самом деле есть... и у этой букашки тоже...

— Я не букашка, Херсий...

— Не сердись, не сердись, не хмурь бровей. Сейчас объясню. Душа нарцисса только питает его, букашечья душа только чувствует. Если я брошу этот цветок вместе с букашкой в огонь, их души сейчас же умрут...

Юноша воодушевился. Заговорил всерьез.

— У нас же с тобой, Миртилла, кроме души-формы есть чистый разум, божественный гость, не истребимый ни огнем, ни мечом...

Феокрит, добродушно слушавший юного поклонника Аристотеля, теперь остановил его.

— погоди, Херсий! Ты бы спросил сначала, поняла ли твоя ученица пройденное. Миртилла, представь себе, что тебя послали в школу...

— Вместе с мальчиками?

— Хотя бы...

— Бедные мальчики!

— Подожди... Скажем, ты полюбила одного из них.

— Молокососа? Спасибо тебе!.. Скорее уж его отца.

— Ладно, пускай отца... Так вот отец тебя и спрашивает, Миртилла, что есть душа-форма?

— А я почему знаю?..

— Подумай хорошенько. Херсий ведь тебе растолковывал. Выпей еще кипрского и подумай.

— Выпила еще и подумала...

— Ну?

— У меня есть форма для медовых пряников, сама их пеку. Приходи, Феокрит, и ты, Херсий, приходи. Угощу...

Юноша, не ожидая, что скажет почетный гость, поторопился согласиться. Поэт усмехнулся, но обижаться он не любил — особенно на молодых. Потрепав Херсия по плечу, сказал гетере ласково:

— Придем, придем... Завтра же придем, Миртилла.

— Вот завтра-то я не могу...

— Купцы?

— Нет, не купцы.

— А кто же?

— Какой ты любопытный, Херсий! Если так уж хочешь знать — македонский воин с той стороны — из Каллиполя\*.

— Да поглотит его преисподняя!

— В свое время... А сейчас он обещал мне браслет — две золотые цапли с вытянутыми шеями. И, знаешь, перышки маленькие-маленькие, прямо малюсенькие. Как их только сделали!

— Миртилла, перышки к делу не относятся! Решено — придем послезавтра, а ты напечешь пряников и объяснишь, в чем же сходство между душой-формой и твоей пряничной формой.

— Я и сейчас могу, Феокрит.

— Слушаем!

— По-моему, очень просто...

— Даже?

— Ну да, просто... Мысли ведь тоже пекутся.

— Как, как ты сказала?

— Мысли пекутся в душе, как пряники в форме.

— Миртилла, а ты, оказывается, умница!

— Куда там... У меня, Феокрит, мысли недопеченные. Корочка, может, когда и удастся, а внутри тесто сырое, пресырое...

— По этому случаю выпьем!

— Выпьем!

---

\* Современный Галлиполи.

Кудрявая голова опять легла на колени Миртиллы. В конце-концов ничего — пусть себе лежит... Они не безобразничают — ни старый, ни молодой. Юноша думает о том, что Миртилла похожа не на нарцисс, а на душистые голубые ирисы, которые весной цветут по краям болот. Поэту думать не хочется. Он любит. Изредка проводит рукой по загорелому плечу гетеры и повторяет все тот же стих:

Ах, моя прелесть, Бомбика! Тебя сириянкой прозвали...

Близилось утро и конец затянувшегося пира. Феокрит пил изредка и потому мог выпить много. В эту ночь он выпил очень много. Ноги стали тяжелыми, вставать не хотелось, но голова оставалась ясной. Поэт чувствовал, что слишком долго болтает с Миртиллою и Херсием. Знал Неофрона давно. Знал и любил. Умный человек, но самолюбив, обидчив... Теперь вот недовольно теребит бороду и почесывает большим пальцем правую щеку, точно его комары искусают. Всегда у него так, когда начинает сердиться.

Феокрит сделал над собой усилие, спустил ноги на пол. Голова сильно кружилась, но Феокрит чувствовал, что упасть он не упадет. Шепнул Миртилле и Херсию:

— Ну, дети, веселитесь, а мне надо к хозяину.— Встал, неверной походкой вышел из зала. Когда вернулся, присел на ложе Неофрона, сразу оставившего в покое свою бороду.

Юноша-философ, оставшись вдвоем с гетерой, предложил ей сыграть в коттаб\*. Миртилла рассмеялась.

— Сейчас? Да ты же сразу проиграешь... Прольешь.

— Вот увидишь, что нет...

— Вот увидишь, что да...

— Спорим!

— Спорим! Ты что от меня хочешь, Херсий?

— Три поцелуя.

— Слишком много.

— Ну, два...

Пробравшись между ложами в пустой полутемный портик — лампы уже не горели, — Херсий и Миртилла

---

\* Игра состояла в том, чтобы, налив вина в чашу, выплеснуть его затем на расстоянии в другой сосуд, не пролив на пол.

взялись за руки. Хотели было пробежаться, но почувствовали, что вино сильнее их. Рука юноши обвила упругий стан женщины. Сквозь тончайшую ткань хитона он чувствовал горячее, привычно послушное тело. Торопливо прошептал:

— Миртилла, давай считать, что мы оба проиграли.

Херсий отыскал в темноте ее губы. Поцелуев было больше, чем два. Потом, поддерживая друг друга, они побрели в дальний угол двора. Оттуда уже давно слышались крики и смех. В этот поздний час хозяин больше ни во что не вмешивался. Он беседовал с Феоκριтом. Гости помоложе, гетеры, отдохнувшие танцовщицы, полупьяные рабы — все вместе играли в коттаб. Девочка-акробатка ничего не слышала. Завернувшись в лохматую хлену\*, она крепко спала между колоннами портика. Мать — гетера — обещала за ней зайти, но почему-то не пришла, а возвращаться домой в одиночку девочка побоялась.

### III

Феоκριт, когда мог, готовился к своим поездкам так же усердно, как ученые путешественники. Старался собрать как можно больше сведений о странах, которые собирался посетить. Так было и на этот раз. Немало работы он задал александрийским библиотекарям. Почти каждый день требовал все новые и новые свитки. Любил делать выписки рано утром, когда большинство ученых Музея еще дома, в книгохранилищах прохладная тишина, и рабы-садовники только что расставили по столам свеженарезанные цветы.

Поэт уже давно не выезжал из Александрии, хотя раньше редко жывал подолгу в одном городе. Непременно хотел посетить своего закадычного друга Никия Милетского, искусного врача, писавшего хорошие эпиграммы. Когда-то, в молодые годы, Феоκριт подружился с ним на острове Косе и с тех пор, где бы ни жил, изредка, но переписывался с Никием, обосновавшимся в некогда славном Милете. Друзья не виделись много лет.

Никий женился поздно — в сорок лет — на девушке, которой едва минуло шестнадцать. Писал Феокристу, что

---

\* Род теплой одежды.

юная жена на первых порах и разговаривать-то с ним боялась, но вскоре ко всему привыкла. Оказалась прекрасной хозяйкой, неутомимой рукодельницей. Жили супруги дружно. Никий звал поэта приехать и полюбоваться его счастьем. Много раз собирался Феокрит в Милет, и все что-нибудь да мешало. Лет десять тому назад, живя в Сиракузах, совсем было решил ехать. Купил даже подарок для трудолюбивой Тевгенис — старинную прялку из слоновой кости, на которой искусный мастер вырезал изображение юной ткачихи за работой. Никий однажды написал другу, что жена умеет читать и любит поэзию, особенно же его пастушьи песни. Феокрит, вспомнив об этом письме, решил, что надо порадовать супругов новыми стихами. Сочинил обращение к прялке. Говорилось в нем о стройном облике трудолюбивой рукодельницы Тевгенис, об искусстве ее мужа, врачавателя страшных недугов и родича муз. Поэт наказывал прялке:

...Бодрой спутницей мне будешь в пути в славный Нелеев град,  
Где в зеленой тени, меж тростников, виден Киприды храм,  
Я молю, чтоб туда мирное нам плаванье Зевс послал...

Все было готово к отъезду, но побывать в Милете и в тот раз не удалось. Совсем неожиданно прибыл посланец из Александрии от самого царя. Птолемей Филадельф, давно знавший Феокрита, звал его в свою столицу. Обещал покровительство и щедрую помощь. Поэт поспешил согласиться — жилось ему тогда нелегко. Отложить переезд в Александрию на несколько месяцев было нельзя. Прялка прибыла к Никию вместе со стихами, но без Феокрита.

За десять лет Никий не раз напоминал другу об его обещании погостить в Милете. С полгода тому назад написал, что рад бы сам приехать к нему в Александрию, да нельзя надолго оставить тех, кто постоянно у него лечится. Город хотя и большой, но обедневший — совсем не то, что Милет былых времен, а врачей больше, чем нужно. Сейчас же перехватят... Просил не откладывать свидания. Немолоды они, и кто знает, что может случиться... Феокрит решил ехать, но смог выбраться из Александрии не сразу. Сначала заболел лихорадкой, потом сблизился с молодым Эратосфеном, ученым и поэтом. Захотел прослушать до конца его лекции по географии для ученых Музея.

В конце-концов уехал. Всю зиму прогостил у Никия в его уютном доме. С моря зачастую дул порывистый ветер. Серые облака то и дело закрывали гребни невысоких прибрежных холмов. По ночам там заливались истошным лаем влюбленные шакалы. Лили надоедливые дожди. Изредка выпадал снег, но сейчас же таял. Жидкая глина липла к подошвам сандалий. Гулять удавалось только в те редкие дни, когда ветер унимался и низкое еще солнце вдруг начинало греть по-весеннему. Обманутые им кузнечики принимались несмело стрекотать, от разогревшейся коры кипарисов шел бодрящий смолистый запах, а полуголые и совсем голые дети бедняков, за которыми некому было присмотреть, выбегали из хижин и шлепали по еще не высохшим лужам.

Днем, и в дурную и в хорошую погоду, Никий был занят. Принимал больных, ходил по городу. За искусным врачом, изобретателем новых лекарств, то и дело приходили посланцы-рабы. Феокрит гулял один. Любил забираться в огромный, пустой сейчас театр. Усаживался на одной из верхних скамей. Смотрел. В гавани чернели у причалов ряды неподвижных кораблей, муравьями ползали люди. Синело по-зимнему бледное море. Близкий остров Лиде был словно нарисован кисточкой географа. Справа виднелся мыс Микале и вершины Самоса. Слева белели известковые горы Карии. Полюбовавшись видом, шел бродить по холмам.

Феокрит любил и знал цветы. В мертвой серой траве отыскивал бледные, точно выцветшие от непогоды фиалки. Приносил Тевгенис и невзрачные цветы морозника, которые начинают распускаться среди глубокой зимы, в месяце посеидеоне\*, когда на горе Латме лежит нетающий снег. Поэт предупредил Тевгенис, что эти цветы ядовиты. Жена врача улыбнулась. Знала об этом давно. В рабочей комнате Никия среди прочих целебных трав лежали в ящичках пучки морозника. Кубок отвара — смертельный яд, несколько капель — лекарство. В свою очередь Тевгенис посоветовала Феокриту, чтобы он, встречаясь с пастухами, не пил все же, где попало, козьего молока. С недавних пор у коз появилась какая-то новая болезнь, почему-то прозванная народом «священной», и она переходит на человека. Все тело болит, и семь

---

\* Декабрь-январь.

месяцев длится перемежающийся жар. Постепенно лихорадка проходит, но затем снова возвращается, и опять, и опять... Немало больных она уже довела до Аида, а врачи совершенно не знают, чем ее лечить.

В свое время Никий написал Феокриту правду. Тевгенис любила читать. Любила и беседовать с друзьями мужа. В Милете, да и в других греческих городах по берегам Азии, женщин не держат взаперти, как это в обычае у афинян, где, чем богаче муж, тем строже охраняется гинекей. Во дворах там бродят свирепые молосские псы. Обучены так, что женщин не трогают, а чужого мужчину готовы загрызть насмерть.

Вечера проводили втроем. После ужина хозяин и гость обыкновенно читали вслух стихи — свои и чужие. В комнате было тепло. Чирикал сверчок, поселившийся у очага. Огонь светильника то горел ровно, то начинал вздрагивать. Тени оживали, беспокойно металась по стенам.

Тевгенис с детских лет привыкла к своей прялке из кипарисового дерева. Ради приезда Феокрита изменила ей. Вынула из ларца его драгоценный подарок. Работала и внимательно слушала. Изредка вставляла дельное слово. Когда-то Феокрит написал о ней:

...Труд свой любит она,— разум хранит мудрый пример для жен.

Поверил тогда другу на слово. Теперь, гостя у Никия, что ни день убеждался в том, что сказал правду. Тевгенис была умна. За свою жизнь видела не очень много, но немало читала и много думала. Домовитая пряжа редко повторяла чужие слова. Не стеснялась говорить гостю, что ей самой нравится и не нравится в его стихах. Пастушеские песни слушала с восторгом. Хвалила «Колдуний» и «Праздник жатвы». «Диоскуров» не любила — слишком длинно, слишком много драк и крови. Когда Феокрит читал еще неизвестного ей «Киклопа», радостно раскраснелась, слушая похвалы мужу:

Против любви никакого нет, Никий, на свете лекарства;  
Нет ни в присыпках, ни в мазях, поверь мне, ни малого прока.  
В силах одни Пиериды помочь; но это леченье  
Людам хотя и приятно, найти его — труд не из легких.  
Ты его, может, и знаешь,— ты врач, да к тому ж, мне известно,  
Издавна были все Музы особо к тебе благосклонны...



Жалобы молодого Полифема, безнадежно влюбленного в нимфу Галатею, ее тронули, но когда поэт дошел до стихов:

Горе, увы! С плавниками зачем меня мать не родила?  
Как бы нырнул я к тебе, поцелуями руку осыпал...

— Тевгенис расхохоталась и долго не могла успокоиться, несмотря на ласково-строгие уговоры мужа. Феокрит не обиделся. Знал, что чудовищно-огромный юнец Полифем с плавниками был бы смешон. Объяснил Тевгенис, что ему и хотелось посмеяться над ним, а заодно и над сочинителями любовных песен.

И в тот же вечер Тевгенис, оставшись с глазу на глаз с гостем, сказала задумчиво и серьезно:

— Да, мой Никий — хороший врач, очень хороший, но бессмертным его делаешь ты...

Феокрит ничего не ответил. Лести он не любил, но знал, что Тевгенис тоже ее не любит. Говорит от чистого сердца.

Пожелав хозяевам спокойной ночи и вернувшись в отведенную ему комнату, поэт не раз с грустью думал о том, что спокойное счастье друга ему неизвестно. Многие дала судьба Феокриту, он сам знал это, а семьи у него не было. Когда-то, уже не очень молодым, несмотря на уговоры родных, женился на глупой и сварливой вдове, старше себя. Быстро с ней разошелся, да так и остался холостяком. Любили его гетеры — и полуграмотные простушки, и те, которые читали Платона, знали наизусть сотни гомеровских стихов, увлекались его собственными песнями. Порой радовала и любовь молодых рабынь, совсем не умевших читать и понятия не имевших о том, кто делит с ними ложе. Все это было не то, не то... Недоставало Феокриту жены — не афинской затворницы гинекея, покорной детородительницы, а такой, как Тевгенис...

В середине месяца антестерииона\* отпраздновали начало весны. Никий приказал рабам открыть бочку с новым вином. Помянул прежде всего возлиянием умерших родителей. Первыми весенними цветами — фиолетовыми и бледно-розовыми анемонами и пушистыми барашками верб украсили сосуды с вином. Трое детей врача — двое девочек и мальчик — с нетерпением ждали этого

---

\* Февраль-март:

дня. Им надели веночки из тех же анемонов и, самое главное, раздали заранее приготовленные игрушки. Мальчик нахлобучил шлем гоплита и гонялся за кошкой, размахивая крохотным мечом. Девочки убаюкивали кукол. Феокрит смотрел на них с ласково-грустной улыбкой. Потом пришли белой стайкой соседские дети в чистых праздничных хитонах. Звонкими и нестройными голосами запели песенку, занесенную с недалекого Родоса. Просили гостинцев:

...Дашь — хорошо, не дашь — спуску не дадим —  
Или дверь снесем, или притолоку,  
Не то жену возьмем, что в доме там сидит.  
Она — такая крошка — унести легко...\*

Тевгенис вышла за ворота с корзинкой медовых пряников. Через двенадцать лет супружества красивая женщина мало была похожа на крошку — высокая, румяная, не очень-то легонькая... Подбоченившись, сказала со смехом:

— Куда вам меня унести, мелюзга!

Дети молча поглядывали на корзинку. Феокрит завал их во двор, заставил еще раз повторить песенку, хотел запомнить и записать, как он часто делал во время странствий. Иногда незаметно подкрадывался к поющим пастухам, спрятавшись в кустах, вынимал из сумки таблички и стилос. Все потом пригодится — и пастушеские песни и слова детского хора.

Во второй половине месяца элафеболиона\*\* в Милете началась жара. Буйно цвели сады. Коричнево-загорелый сынишка Никия, как и другие малыши, с утра до вечера бегал голым. Солнце уравнило детей — и богатых и нищих. Кошку он оставил в покое. Гонялся теперь за бабочками, пытаясь зарубить их своим любимым мечом.

Когда Феокрит собрался уезжать, на яблонях уже завязывались плоды. В Милете весна много жарче, чем в Лампсаке. Ветры с Понта Эвксинского\*\*\* сюда не доходят.

В пожилые годы Никий стал набожен. Твердо верил, что ему помогает божественный целитель и покровитель врачей. Асклепий. В своем саду воздвиг богу стацию.

\* Из «Родосских песен».

\*\* Март-апрель.

\*\*\* Черное море.

Заплатил за нее большие деньги искусному ваятелю Эетиону. Знал, что Феокрит не то плохо верит в богов, не то совсем в них не верит, хотя в песнях постоянно о них говорит. Все же накануне отъезда друга решил снова принести жертву Асклепию. Под вечер перед деревянной позолоченной статуей в тени платанов собралась вся семья, соседи, слуги. На мраморном жертвеннике, увитом плющом, были приготовлены сухие кипарисовые поленья. Старшая дочь врача, девочка одиннадцати лет, подвела к жертвеннику белого козленка. На шее у него был венок из молодых ветвей серебристого тополя и нарциссов. Никий сам поджег дрова, срезал со лба козленка прядку шерсти и бросил ее в огонь. Под звуки двойной флейты, на которой играл один из рабов, нанес жертвенному животному смертельный удар. Девочка вздрогнула и закусила губку, стараясь не заплакать. Ей было жалко козленка, только что щипавшего травку у ее ног. Раб-повар освежевал тушку. Никий положил ее на быстро горевшие смолистые дрова. Запахло жареным мясом. Жертва была просительной, а не искупительной. Надлежало сжечь только кости ног да немного жира, но Никий решил поусердствовать, поручая отъезжающего друга божественному покровительству. Совершил и возлияние. Прочел гимн Асклепию. Феокрит стоял рядом с Тевгенис. По привычке внимательно наблюдал весь обряд, но ему было не по себе. Что хорошо в песнях, то не всегда хорошо в жизни. Зачем все это?.. И девочку жалко. Не плачет, а губки вздрагивают. Назерное, любила играть с этим беленьким козленком. Но поздно вечером, вернувшись в свою комнату после долгого задушевного разговора с Никием и Тевгенис, поэт решил еще раз отблагодарить друга за все — и за прощальное жертвоприношение. Дорожные вещи были уже уложены. Феокрит приказал рабу снова вынуть письменные принадлежности. Утром вручил Тевгенис малый тетрадион, сложенный вдвое кусок пергамента. Взял с нее слово, что передаст его мужу только после отплытия корабля. Это была эпиграмма на статую бога Асклепия.

Нынче в Милета жилища спускается отпрыск Пеана\*,  
Хочет увидеть он там многих болезней врача  
Никия. Этот ему, что ни день, то подарки приносит;

---

\* Пеан — Аполлон, Асклепий — его сын.

Нынче душистый он кедр выточить в статую дал  
Этиона искусным резцом за плату большую.  
Мастер же в этот свой труд всю свою ловкость вложил.

Никий прочел эпиграмму и смахнул слезу. Подумал о том, что вряд ли он еще когда-нибудь увидит старого друга Феокрита.

#### IV

Богобоязненный Никий — старинный друг Феокрита. Теперь он уже давно счастливый семьянин, верный муж и добрый отец. Милетские гетеры о нем и думать не смеют. А когда-то на острове Косе\* молодой врач-стихотворец вместе с Феокритом провел немало ночей у тамошних подруг. И вина они выпили вместе немало. Дороже Никия был поэту только один человек — недавно умерший Арат Солский, поэт-астроном, «друг наилучший», как звал его Феокрит. Не раз вспоминал в своих песнях и того и другого. О Неофроне в них не было ни слова, хотя лампсакский эпикуреец тоже имел право считать себя давнишним другом поэта.

Когда-то случайно встретились в Олимпии, купаясь в Алфее после знойного дня игр. Обонм недавно минуло тридцать лет, и оба впервые приплыли в Элладу. Разговорились. Быстро подружились. Все казалось им неожиданным, новым и интересным. Чтобы лучше увидеть страну, пошли в Афины пешком с котомками за плечами. Рабов с ними не было. Побывали в Орхомене и Немее. Осмотрели там пещеру, близ которой, по преданию, Геракл палицей из дикой маслины убил льва, наводившего ужас на соседние селения. Путники сильно устали, но, когда пришли на ночлег в соседнее местечко Бембину и подкрепились ужином, Феокрит прочел наизусть своего «Геракла-младенца». Он показался Неофрону чрезвычайно длинным и довольно скучным, но запомнились змеи, которых задушил десятимесячный герой. Змей Неофрон очень боялся и не любил о них думать.

Из Немей друзья отправились в Коринф. Прожили там две недели. Переправились потом на остров Саламин, около которого два с лишним века тому назад по-

---

\* Довольно крупный остров у юго-западного побережья Малой Азии.

гиб персидский флот, разбитый Фемистоклом. Посетили Элевсин и наконец с священным трепетом вошли через Фриазийские ворота в Афины. Там прожили вместе целых полгода. С утра до ночи бродили по знаменитым местам. Сидя под платаном на берегу Иллисса, вспоминали Сократа и Платона. Слушали философов и в Академии, и в Ликее, и в саду Эпикура. Как и раньше, великий город был полон учителей и учеников. Впоследствии Неофрон уверял, что он эпикуреец чуть ли не с пятнадцати лет, но это была неправда. Увлёкся он учением Эпикура уже после возвращения из Афин. Там ему больше понравился хитрый спорщик Аркесилай, будущий схолярх Академии, который красноречиво утверждал, что ровно ничего утверждать нельзя.

Феокрит охотно слушал всех, наблюдал, запоминал — и речи, и лица, и афинский способ располагать складки гиматия, и шорох пиний в роще героя Академа, и капли пота на лице древней старухи, тащившей вязанку хвоста в жаркий день. Навсегда остался у него в памяти и тощий босоногий пифагореец с нелепо длинными прядями нечесаных волос. Вокруг него в тени портика собралась куча зевак, грубо шутивших над проповедником, а он, ни на кого не обращая внимания, продолжал говорить о мировой гармонии и тайнах чисел.

Академия, Стоя, Ликей, пифагорейцы, киники... Много философов было в Афинах. Все говорили умно и все по-разному. Феокрит старался понять, где же истина, и не мог. Больше других ему было по душе ясное и светлое учение только что умершего Эпикура, но и эпикурейцем он не стал. Иногда поэту казалось, что все эти рассуждения о мире и человеке вообще ни к чему. Только мешают видеть настоящий мир и живых людей. Всем мешают — и мудрецам и мудрящим.

Друзья расстались в Пирее\*. Неофрон поплыл на север, Феокрит на восток. Поэт долго был непоседой. Часто переезжал из города в город, из страны в страну и вскоре потерял из вида Неофрона. Два-три раза писал ему со случайными людьми, но ответа не получил. Должно быть, послания не дошли. Не мог даже дознаться, жив ли его лампсакский приятель. В Лампсаке любой мальчишка постарше знал богатого человека, чьи поля тяну-

---

\* Гавань Афин.

лись на добрый десяток стадий\*. В ойкумене\*\* о нем не знал никто. Афинские месяцы ушли в прошлое. Поэт вспоминал Неофрона все реже и реже. Понемногу совсем забыл о нем.

Между тем слава Феокрита росла. Хвастуном он не был. Хотел даже казаться скромнее, чем был на самом деле. Талант свой ценил. В стихах не очень настойчиво спорил с теми, кто считал его первым поэтом тех дней:

Музам глашатай я звонкий, и часто меня называют  
Все наилучшим певцом; но, клянусь, я не так легковерен!

Уверял, что не может тягаться ни со своим учителем Филетом, ни с Асклепиадом Самосским. Лягушке, мол, не пристало состязаться в пении с кузнечиком. Надеялся, что читатели скажут иначе. Иногда сам изображал себя пастухом-поэтом.

Нимфы меня обучили в горах, где быков стерегу я,  
Песням таким, что их слава домчалась до Зевсова трона.

По ойкумене она, эта слава, разливалась вдоль и вширь. Феокрита читали не только эллины, но и варвары, знавшие по-гречески. О том, что он поселился в Александрии, где его отличает грозный повелитель Египта, Птолемей Филадельф, стало известно многим. Узнали об этом и в Лампсаке. Неофрон обрадовался и за Феокрита и за себя. Во время странствий по Элладе и пребывания в Афинах он искренне полюбил поэта — жизнелюбивого, ласкового, всегда бодрого. Охотно слушал и его стихи, которые раньше совсем не знал.

О том, что случайно встреченный в Олимпии приятель не только поэт, но и великий поэт, Неофрон все же не догадался. В древней поэзии он был начитан, в толковании стихов тоже, но комментаторы, биографы, грамматики занимались давно умершими песнопевцами, а современников не считали достойными внимания. Сам же будущий эпикуреец, как и большинство читателей, больше верил другим, чем себе. Он знал к тому же, что большие поэты давно уже не бедняки, подобные Гомеру. Взять хотя бы Пиндара... Столько греческих и иноземных царей его одаривало, что и перечислить их нелегко.

\* Мера длины — 184 метра 47 сантиметров.

\*\* Населенная часть земли, «вселенная» в собственном смысле.

Теперь же и подавно — стоящие поэты без покровителей не остаются и без денег не сидят. А Феокрит все никак не может устроить свою судьбу. Сам признался, что порой ему не на что жить. Неофрон жалел незадачливого приятеля, но не раз спрашивал себя, так ли уж хороши его стихи, как ему, Неофрону, кажется...

Сборников своих писаний Феокрит не издавал. Ходили по ойкумене отдельные его песни. Изредка попадали и в Лампсак. Лет через семь после путешествия по Элладе Неофрон пръчел энкомий\* Гиерону. Поэт горько жаловался на судьбу своих творений. Редко кто радушно раскрывает перед его Харитами двери своего дома. Приходится им, бедным, уходить восвояси с пустыми руками:

Снова вернутся домой не обуты и, жалуясь горько,  
Будут опять издеваться за то, что напрасно бродили.  
Спрячутся снова потом недовольно в ларце опустелом,  
Голову грустно склоняя к озябшим от стужи коленям.

Значит, все по-прежнему. Бедняком был, бедняком и остался. Но какая гордость у этого человека... Бессмертие царям и героям дают поэты, и он обещает обессмертить Гиерона, если тот станет его покровителем. Прямото так не сказано, — Феокрит умеет говорить искусными обиняками, но смысл ясный:

Некий появится муж, кто в моей будет песне нуждаться,  
Доблестью равный с Ахиллом великим и с грозным Аянтом,  
На Симоэнта равнине, близ насыпи Ила-фригийца.

И время показало.

Забот у Неофрона было много. Он давно перестал думать о поэте, и вдруг это известие... Феокрит при дворе египетского царя, у него немало учеников и подражателей, он прославленный поэт, знаменитый человек.

Неофрон всегда был честолюбив. Остался честолюбцем и став последователем Эпикура. Не раз перечитывал слова учителя о том, что ни богатство, ни слава, ни знатность происхождения ничего не приносят душе. Единственное, что ей нужно, это, откинув заботы и страх, наслаждаться ничем не нарушенным покоем. Для Неофрона слова Эпикура оставались все же только словами. Своей славы не было, надежды на нее тоже не было. Давно

---

\* Хвалебное послание.

хотелось приобщиться к чужой, а случая не представлялось. Отец умер. Надо было самому вести огромное хозяйство, круглый год оставаться в Лампсаке. Когда-то в нем жила знаменитые люди, но сейчас их нет. Не Идоменей же великий человек — тот, который уже много лет сидит ночами над историей афинских демагогов?

Известие о почти забытом Феокрите взбудоражило честолюбца. Как-никак не раз спали под одним плащом в свежие аркадские ночи. И сколько было пережито вместе и переговорено за те полгода в Афинах. И как простились тогда в Пирее... К тому же он, Неофрон, помог поэту. У Феокрита окончательно вышли деньги. Не на что было вернуться на Кос, и он дал ему займы. На отдачу не рассчитывал — трудно жилось бедняге. Так и вышло. А на самом деле Феокрит отослал свой долг с первым же письмом, но человек, взявшийся отвезти деньги, и в Лампсак не попал и на Кос не вернулся.

Ну что там долг — пустяки... Неофрон о нем, конечно, не напомним. Важно, чтобы его друг, знаменитый поэт Феокрит, согласился приехать в Лампсак. Об этом путешествии заговорят, а потом в жизнеописании столь известного человека, наверное, будет сказано и о том, у кого он гостил на берегу Геллеспонта. И Неофрон принялся посылать в Александрию письмо за письмом. Там было все — и воспоминания, и заверения в неостывшей дружбе, и восхищение бессмертными песнями, которые он, Неофрон, хранит в драгоценном ларце, и уговоры, уговоры...

Распечатав первое послание и взглянув на заголовок «Неофрон Феокриту привет», поэт сразу и не сообразил, кто же это такой. Прошло ведь четверть века с тех пор, как двое молодых людей странствовали вместе по горам Эллады. Стал читать, улыбнулся. А вот оно что... Жив, значит. Когда представился случай, ответил кратко, но с теплым чувством. Через несколько месяцев опять письмо из Лампсака — большой тетрадион с приложением тщательно запечатанного кожаного мешочка. Оказался там прекрасной работы золотой стилос с ручкой в виде лебедя, распутившего крылья. Пришлось благодарить, хотя стилос и не понравился Феокриту — он был тяжел и неудобен для письма. Попенял Неофрону за расход на эту драгоценность. Прибавил шутя, что пастухи его песен к золоту не привыкли — хватит с них и тростника.



Что же касается приглашения приехать в Лампсак, то сейчас, к сожалению, невозможно. Может быть, когда-нибудь позже... Он, Феокрит, рад был бы повидать давнишнего друга и осмотреть места, прославленные поэтами, начиная с Гомера.

Получив это второе письмо Феокрита, Неофрон так обрадовался, что даже простил раба, опившего лошадь. Сам потом удивился своему необычному великодушию. Любил, правда, вспоминать слова Алкидаманта: «Все люди суть вольноотпущенные божества: природа не создает рабов», но на деле обходился с рабами, как и другие. Конюху предстояло назавтра получить полсотни плетей, и варвар не знал, каких богов ему благодарить — своих или греческих. Неофрон же почувствовал, что у него появляется кой-какая надежда на бессмертие. Теперь он не только богатый человек, любящий философию, а прежде всего друг Феокрита. Письма поэта Неофрон показал немногим и будто невзначай — пусть не думают, что эпикуреец хвастается. Своего все же добился — в Лампсаке среди понимающих людей немало было разговоров об этих посланиях.

Вот если бы Феокрит еще посвятил ему хотя бы эпиграмму... Довольно нескольких строк, и его, Неофрона, имя не умрет:

Людам от Муз лишь одних посылается добрая слава,  
Все же богатство умерших развеют по ветру живые.

Поэт прав... Теперь Неофрон совсем другими глазами читал его послание Гиерону. Если бы... если бы... Но мечта о посвящении стихов не исполнялась и, самое главное, Феокрит в Лампсак не ехал. Вероятно, никогда бы и не приехал, не будь путешествия в Милет. Оттуда не так уже далеко и до Лампсака. Поэт решил, что следует наконец исполнить просьбу Неофрона, а заодно взглянуть и на места знаменитейшей из всех войн\*, осмотреть берега Геллеспонта, побывать, если удастся, на горе Иде...

Корабль, задерживаемый встречными ветрами, медленно шел на север. Мелкие островки Эгейского моря были словно опрокинутые зеленые чаши на голубой ска-

\* Троянской.

терти. Обогнули лесистый Самос, два дня простояли у восточного берега белокаменного Хиоса. Наконец ветер подул с юга. Вышли в открытое море. Снасти скрипели. Ветер крепчал и крепчал. Когдаплыли мимо Лесбоса, он повернул на северо-восток и превратился в бурю.

Феокрит уже давно не был новичком морских странствий. В гимне «Диоскуры», подражая Гомеру, он описал одну из пережитых бурь:

Парус изорван в клочки, и снасти висят в беспорядке.  
Хлынули с темного неба потоки дождя ледяного.  
Ночь надвигается быстро. Бушует широкое море,  
Ветром бичуемо буйным и хлещущим градом суровым.

Буря у Лесбоса разыгралась днем. Ни дождя, ни града не было. Ярко светило солнце, но тем страшнее было путникам. Капитан с остервенением стегал плетью охваченных отчаянием матросов. Милетские купцы, ехавшие в Византий, вспоминали о небесных покровителях моряков Касторе и Полидевке и, упав на колени, громко молили Зевсовых сыновей о помощи. Хотя паруса успели убрать, корабль несло прямо на прибрежные скалы. С великим трудом капитану удалось проскочить в узкий вход залива Эврипа Пиррийского. В городке Пирре на терпевшиеся страху путешественники сошли на берег. Всем хотелось переночевать на твердой земле. Милетские купцы решили, что богам не угодна их поездка в Византий. Скорее, скорее домой...

До вечера было далеко. Феокрит, завернувшись в дорожный плащ, улегся на прибрежном песке. С удовольствием вытянул ноги. Задумался. Здесь, в заливе, волны были несмелые, мелкие, но ветер свистел по-прежнему, и по голубому небу быстро неслись обрывки облаков. После пережитой опасности дышалось легко, и мысли, освободившиеся от страха смерти, текли спокойным потоком.

Феокрит вспомнил недавнее жертвоприношение в Милете. Улыбнулся. Он зачастую улыбался своим мыслям. Что сказал бы Никий... Не помог его покровитель Асклепий. Не испросил, видно, у Эгидодержавного Зевса спокойного плавания кораблю. Правы эпикурейцы... Не во всем правы, но о богах они думают правильно. Если и есть небожители, то к судьбе людей они равнодушны.

И, если бы он, Феокрит, сегодня оказался на дне морском, не огорчился бы ни Зевс, ни Афродита, ни Аполлон, хотя его и считают издревле покровителем поэтов.

А хорошо, что проскочили в залив... Снова можно жить и радоваться тому, что живешь. Прекрасна жизнь со всеми своими радостями и горестями, с богами или без богов — все равно прекрасна. А для умерших нет ничего. Какой там Аид. А может быть, может быть... Феокрит принялся вспоминать ушедших — отца Праксагора, мать Филину, любимого отчима Симмахия, косского друга Арата, многих, многих. Он редко размышлял о смерти, но когда задумывался, всякий раз чувствовал, что ни в чем по-настоящему не уверен. Очень хотелось поэту прочно убедиться в том, что загробного мира нет. Спокойнее без него, и проще, и веселее — но эта уверенность не приходила. Эпикурейцы измышляли десятками доказательства смертности души, почти каждый год находили все новые и новые. Феокрит прилежно в них вчитывался, но сомнение оставалось. И, когда умирал близкий человек, казалось порой, несмотря на все доказательства, что он ушел не в небытие, а в новое бытие, быть может, тоже светлое и радостное.

Волны оставляли на песке быстро тающую белую бахрому. Свистел свежий ветер, но под плащом было тепло. Поток мыслей становился все мельче и мельче. Феокрит почувствовал, что он очень устал. Улегся поудобнее, положил под голову дорожную сумку. Закрыв глаза. Сразу ушел в царство снов, где живые часто встречаются с мертвыми.

На следующий день море утихомирилось. Корабль от бури почти не пострадал и вскоре после полудня снова двинулись на север. Феокрит сидел на носу. Смотрел на белые гребешки мелких волн. Берег был недалеко. Вокруг корабля с пронзительными криками носились алькены — чайки. Подлетали к самым бортам, ловили на лету кусочки хлеба, которые им бросали путешественники. Зоркий глаз поэта заметил, что не все птицы одинаковы — у одних крылья острые и сизая грудь, другие почти целиком белые, с широкими крыльями и красными ногами. Дельфины то обгоняли судно, то плыли обратно, поблескивая серыми спинами. Порой то один, то другой на мгновение взметывался в воздух и, сверкнув белым брюхом, возвращался в свою стихию.

Плавание проходило спокойно, но из того, что интересовало поэта, увидеть почти ничего не удалось. Капитан корабля, и так уже потерявший несколько дней из-за встречных ветров, не согласился сделать остановки в Ахейской гавани близ входа в Геллеспонт, где находился лагерь греков, осаждавших Илион. С палубы в местах, где была Троя\*, и зоркие глаза Феокрита не различили ничего, кроме зарослей тростника по берегам Скамандра, низких глинистых холмов да нескольких хижин, окруженных тополями и платанами. Не пришлось посмотреть как следует и на берега Геллеспонта. В конце месяца элафеболиона туманы здесь редки, но на этот раз вечером пролив окутался таким покрывалом, что пришлось, не дойдя до города Дардана, бросить якоря и ждать рассвета. С восходом солнца туман поредел, стали видны берега, но на них по-прежнему лежала белесоватая дымка.

Феокрит вынул из походной сумки небольшой тетрадион. Работая в Александрийской библиотеке, он записал все достопримечательности, которые предстояло увидеть на берегу Херсонеса Самофракийского\*\* и на азиатской стороне.

Место, называемое Кинос-Сема — «могила собаки», где будто бы похоронена злосчастная Гекуба, вторая жена царя Приама. Почему оно так называется, александрийские комментаторы спорили — то ли судьба обошлась с ней как с бродячей собакой, то ли Гекуба в самом деле была превращена в собаку, и мальчишки убили ее камнями, пока еще сука не оценилась. На корабле местных жителей не было, и никто не мог указать, где же место, именуемое Кинос-Сема. Если бы и указали, все равно в тумане виднелись только темно-зеленые холмы, и даже отдельных деревьев нельзя было различить.

Не пришлось поэту рассмотреть и храм, воздвигнутый над останками Протесилая. Молодой царь фессалийской Филаки женился как раз накануне отплытия греков в поход. Он знал предсказание оракула, сулившего смерть первому, кто высадится на троянский берег. Несмотря на мольбы Лаодамии, просившей мужа не заботиться

---

\* Древние ученые полагали, что Троя находилась не там, где ее впоследствии нашел Шлиман, а при входе в Геллеспонт.

\*\* Нынешний Галлиподийский полуостров.

о славе, он решил пожертвовать собой ради победы эллинов и в первом же бою пал от руки Гектора. Капитан знал храм героя, хотел показать его Феокриту, но тот едва различил в тумане невысокое белое строение.

Только башню Геро удалось увидеть ясно и совсем близко. Когда плыли мимо городка Сеста, туман наконец рассеялся.

Теперь Феокриту ничьи указания больше не были нужны. Конечно, та самая башня... Четырехугольная из дикого камня с черными проемами немногих окон. Она за городом, на самом берегу. Рядом, среди кипарисовой рощицы, единственный в городе храм, — наверное, святилище Афродиты, жрицей которого была Геро. Напротив, на азиатском берегу, Абидос — родина Леандра.

Поэт задумался. Представил себе ту лунную летнюю ночь, когда влюбленный юноша, сбросив одежды на прибрежный песок, впервые плыл на эту сторону. На крыше башни Геро пылал издалека видный факел. А потом пришла и последняя ночь — осенняя, холодная, бурная. Леандр не вытерпел разлуки и, как всегда, поплыл к возлюбленной. Но ветер погасил факел, и юноша утонул. Поутру волны выбросили его труп к подножью башни. Все знают, что Геро не пережила смерти Леандра — бросилась в море...

Феокрит не собирался писать об этой любви, но, как всегда, с радостным вниманием смотрел на места, прославленные мифами. Пусте нет в них ни слова правды — не в этом дело. Когда видишь воочию, начинаешь верить, а поэту нужно хоть на время поверить в то, о чем он пишет.

Плыли дальше. Сверкающая голубая гладь пролива тянулась между весенне-зелеными берегами. Яркое горело солнце.

Корабль с едва наполненными ветром парусами медленно шел, преодолевая течение Геллеспонта.

На азиатском берегу открылась полукруглая гавань. Большой город из серого камня, темная зелень садов; над городом на холме белый храм. Четырехугольники полей, обрамленные деревьями. Лампсак, древняя колония фокейцев.

Поэта сопровождали в путешествии трое рабов. Богатым человеком он не стал, но и пора бедствий миновала. Пока двое рабов сносили на берег поклажу, Феокрит

приказал третьему идти в город и разыскать Неофрона. Зная, что тот никуда надолго не отлучается из Лампсака, решил заранее не предупреждать приятеля о предстоящем приезде. Пусть его приезд будет неожиданностью.

Последнее время у помещика-философа часто побаливало сердце. В тот день оно едва не остановилось. Неофрон, не веря тому, что услышал от посланца, переспросил, а когда наконец понял, что Феокрит здесь и ждет его на пристани, побледнел и начал глотать воздух, как издыхающая рыба. Потом обнял растерявшегося раба и сунул ему серебряную монету. Сорвал с себя хитон, запылившийся на пашне, дрожащими руками натянул на тучное тело чистый и, накинув гиматий, чуть не бегом бросился на берег.

## V

Обычно Феокрит просыпался рано — особенно весной и летом. Просыпался и сейчас же вставал. Где бы ни жил, любил на рассвете выйти в сад или прогуляться по полям и лесам. Любил и городские улицы на заре, когда грязные камни мостовой становятся нарядно-розовыми, а редкие еще пешеходы шагают бодро и смеются громко.

После пира Феокрит проснулся поздно. Неохотно открыл глаза, осмотрелся. В маленькой спальне было темно, но сквозь дырку в занавеске пробивался полудневной яркий лучик. Поэт встал, приподнял тяжелую ткань. Да, день уже. Кровать Неофрона пуста. Хлопотун он... Должно быть, наводит порядок после вчерашнего. На смятом одеяле, свернувшись клубком, спит пестрая кошка. Феокрит узнал ее. Та самая, которая вчера прыгнула на его ложе и ластилась, пока философы философствовали.

Одеваться еще не хотелось. Яркий свет резал глаза. Поэт опустил занавеску и снова улегся поудобнее. Мысли текли, как реки родной Сицилии в сухую погоду. И течет, и не течет — словно лень ей. Заводи, мели, в ином месте коза вброд перейдет, едва замочив копытца. Ребенок лет трех и тот не утонет. Плюхнется задком на песчаное дно и смотрит, как ходят в блестящей воде

стайки серых рыбешек. То на месте стоят, то все сразу шарахаются в сторону.

Философствовали... Феокрит знал, как обычно это делается. Будто бы все невзначай. Собрались, возлегли, поели, пришло время симпозиа, и полились речи, словно струи многоводного фонтана. Ясность, чистота, блеск. Да, у прославленных мудрецов так и бывало. Но много ли сейчас настоящих философов в Элладе да и во всей ойкумене? А желающих философствовать многое множество. И занимательно, и от людей почет. Ну, и готовятся старательно к каждому пиру. Часами мусолят свитки, выуживают чужие мысли — авось попадетсЯ такая, что и за свою сойдет. Иной испишет заметками несколько тетрадионов, пока подготовит беседу. Всего, конечно, не предусмотреть, но умеючи, можно, где следует, промолчать. Не все, правда, так. Вчерашние готовились мало. Актер, тот, конечно, всю речь написал заранее, только вступление приладил на месте. А старик, как его... атомы божьего тела... он вовсе не готовился. Все-таки, совсем неплохой симпозиум — особенно для такого далекого города. Самое главное — не тянули. И совсем хорошее вино — даже самосское\*. В Александрии на пирах его не подают, а Неофрон раздобыл отличное. Рыбу приготовили удивительно — надо будет спросить, что это за соус.

Феокрит в гостях у пастухов с наслаждением ел ноздреватый овечий сыр, маслянистый и терпкий, но любил и кухню царей Египта. Живем ведь только раз, и всего надо попробовать. Не подражать же косматым постникам-пифагорейцам и египетским гимнософистам\*\*, которые целый свой век сидят и смотрят на собственный пуп.

Подумал о том, что следует в Александрии открыть секрет Неофронова соуса придворным поварам, а может быть, и самой Беренике. Молодой монарх очень любит выпить, к еде же, кажется, равнодушен. Ему бы соленые оливки да маринованная рыба. Царица — другое дело. Понимает толк и в соусах и в прочем. Нет, в самом деле, привезти ей этот кухонный подарок. Феокрит представил

---

\* В древности самосские вина считались второсортными.

\*\* Мудрецы-отшельники.

себе милостливую улыбку красавицы Береники, ее довольный смех...

И вдруг мысли замутились, как те же сицилийские речки после грозы в горах. Понеслись пенистым потоком. Не то что козе — коню не перейти. Унесет, завертит, избьет о камни.

Что он наделал вчера... Нельзя же было рассказывать на пиру эту историю с волосами царицы так, как он рассказал. Вздор, конечно, и Береника отлично знает, что вздор... Но ей было приятно — пройдут века, тысячелетия, а на небе по-прежнему будут мерцать ее волосы. Умно придумал старый Конон. И все при дворе делали вид, что верят. Полагалось верить. Он, Феокрит, тоже принес поздравления царице по случаю столь явной милости богов. Нельзя не ублажать царей. Нельзя...

...Ведь Кронниона Зевса забота  
Всех окружает владык благородных...

Сотад... Феокрит вздрогнул. Закололи в ладонях ледяные иголки. Всегда так бывало, когда чувствовал близкую опасность. Последний раз иголки кололи совсем недавно — во время бури у Лесбоса. Теперь опять... Сотад... Сразу вспомнилась его история. Сотаду долго чихала судьба\*. Он был настоящий поэт, только охальник, каких мало. Любил посмеяться и над другими и над собой — больше, правда, над другими. Грубо смеялся, очень грубо. Такие словечки употреблял, что пергамент мог покраснеть, а о женщинах и говорить нечего. Все же они читали потихоньку сотадовские песни и еще как их любили. Давились от смеха, хотя на людях делали вид, что о таком поэте и не слышали. Сама тогдашняя царица Арсиноя, говорят, читала тайком от мужа-брата «Приапа» и «Нисхождение в Аид». Все сходило с рук, пока не трогал царей. А потом написал песенку о браке Птолемея Филадельфа, женившегося на родной сестре, и погиб бедняга. Царю донесли, он приказал раздобыть песню, прочел, а ночью Сотада, исполосованного бичами, положили в свинцовый ящик и бросили в море.

Феокриту стало холодно при мысли о том, как птолемеявы матросы раскачивали этот страшный ящик. Его-

---

\* Греки считали чихание при встрече счастливым предзнаменованием.



то, правда, не утопят — Береники он не оскорблял, да и как можно ее обидеть. Приветливая, добрая... И Птолемей Эвергет не то, что его отец. Поэт вздохнул. Не любил вспоминать о том, как он славил умершего царя. Много раз славил. Написал в его честь длинный энкомий — хвалебную песнь. Работал над ней долго, но чувствовал, что, несмотря на все старания, энкомий подобен подогретому льду. Сколько ни грей, не согреешь. А написать было нужно... Птолемей любил Феокритовы песни. Щедро одаривал, избавил его, тогдашнего полунищего скитальца, от бедности. В Александрии можно было спокойно жить и дружить с музами. Но энкомий — словно душевный нарыв. Вспомнит, шевельнется совесть, и становится больно за то, что написал:

Счастлив будь, царь Птолемей! Наравне я с полубогами  
Славу твою помяну. Мое не забудется слово  
Меж поколений грядущих...

Знал, что потомки, если прочтут, как он славил нечистый брак царя, помянут песнопевца совсем не добрым словом. Не поможет и сравнение с браком небожителей. На Олимпе поженились дети Реи — Зевс и Гера, на земле — Птолемей и Арсиноя.

....она превосходит  
Всех, кто в дому заключает супруга в объятия;  
Всею душой она его любит: и брата и мужа.

Подумал об энкомии и поморщился. Прозвучали в памяти и другие слова похвалы:

Для вольного — лучший владыка:  
Добр и приветлив, разумен, искусен в любви,  
в стихотворстве...

Да, нечего сказать, добр... Что ему стоило казнить поэта, когда он двух родных братьев приказал умертвить?..

Феокрит подумал о том, что искренни или неискренни его похвалы Птолемею Филадельфу, а все же они его заступницы. Сказал лишнее о супруге теперешнего царя, но прославил его отца, мать, деда, бабуку... Стал размышлять спокойнее. Свинцовый ящик не грозит. Не за что. К тому же до Александрии далеко — там, вероятно, и не узнают. А могут и узнать... Отсюда в Египет ездят

иноземные купцы и, кажется, не очень редко. Могут разболтать, переиначить. Из застольных шуток такое сделают, что нельзя будет показаться во дворце. Запретят, пожалуй, работать в Музее. Феокрит провел ладонью по вспотевшему лбу. Музей. Прохладные, низкие залы библиотеки, где в бесконечных ларях хранится четыреста с лишним тысяч свитков — сокровище, равного которому нет во всей ойкумене. Что он будет делать без Александрийской библиотеки?..

И только ли это?.. Опять закололи иголки. Забыл о важном. Собираясь навестить Неофрона, долго раздумывал над тем, можно ли ехать в царство Селевкидов, раз Сирийская война снова началась\*. Он, правда, иностранец, гражданин Сиракуз, но все же как бы не навлечь гнев Птолемея... Не раз советовался в Александрии с друзьями. Нашли, что можно. Лампсак в Мисии, а давно известно, что тамошние полисы не любят антиохийских царей. Птолемеям они не враги. Поезжай, Феокрит, только не говори лишнего...

Снова выбрал себя за вчерашнее. Не подумал вовремя и о том, что царь все еще влюблен в царицу — не только она в него. Может разгневаться сильно. Не простит тогда и поездки в страну врагов. Засадит в тюрьму. Когда еще разберется, в чем дело. Сойдешь с корабля, вернешься домой, и за тобой придут. А в тюрьме грязь, вонь, крысы, с потолка каплет вода. И в конце концов изгнание навсегда, да еще все отберут, что накопил за эти годы. Жизнь придется начинать сынова. Нет, не надо было вчера болтать...

Решил сразу — придется подождать с возвращением в Александрию. Пожить здесь не две недели, как хотел, а несколько месяцев, разузнать, как там — известно или нет... Если обойдется, тогда к зиме можно и обратно. Пока в Лампсаке есть с кем побеседовать, на что посмотреть. Близко Ида, недалеко был Илион...

Лежать надоело. Следовало кликнуть раба, но одеваться все еще не хотелось. Поэт снова откинул занавеску, присел на узкий подоконник. В окно лился горячий уже воздух позднего утра и, вдыхая его, Феокрит почувствовал, как скверно пахло в комнате, где провели ночь

---

\* Третья Сирийская война между Птолемеем Эвергетом и Селевком II Каллиником Бородатым началась в 247 году до н. э.

двое порядком выпивших мужчин. Голова слегка кружилась, и противно было думать о еде.

А в мире все шло по-своему. Дом Неофрона стоял над самым берегом. За купами цветущих яблонь блеснул Геллеспонт. С Пропонтиды веял легкий ветер. Паруса рыбацких лодок были надуты, и морская гладь, подернутая рябью мелких волн, походила на кованое персидское серебро. На фракийском берегу тянулись низкие холмы, поросшие лесом. Виднелись серые домишки городка Каллиполя. До него было не близко — больше тридцати стадий, но зоркие глаза Феокрита различали башни акрополя, темное пятно кипарисовой рощи и белую башню маяка на мыске у входа в Пропонтиду.

В саду Неофрона под яблонями бродила редкостная индийская птица — павлин. Нарядный пришелец с голубой грудью и коронкой на голове по временам останавливался, распускал веером пышный зелено-золотистый хвост с глазчатыми пятнами и хрипло кричал, точно приглашая на себя полюбоваться. Глядя на него, Феокрит грустно усмехнулся. Подумал о том, что вчера и он распустил хвост, как эта птица, а теперь не знает, куда его спрятать. Павлину-то лучше — ходи, блисти, клюй червячков, пока не околеешь...

Задумался. Хорошо было бы в самом деле снова стать никому не известным, забраться куда-нибудь в деревню... Вспомнил одну из своих подруг тех времен — молодую рабыню из страны сарматов. Об этих людях рассказывали удивительные и странные вещи. Живут они на телегах и на конях где-то между Борисфеном\* и рекой Оар\*\*. Новорожденным девочкам сразу же прижигают раскаленной медью правую грудь. Когда они вырастают, наливается только левая грудь, а справа девушка выглядит, как мужчина. Им, одногрудым, удобнее рубить мечом и натягивать лук. Каждая, прежде чем выйти замуж, должна убить хотя бы одного врага — иначе ее обрекают на вечное девство. Сарматская девушка была рабыней приятеля. Феокрит не мог выговорить ее странного имени. За золотистые косы прозвал Хризис. Золотистоволосая Хризис сначала очень его дичилась, но совсем не была похожа на дикарку. Большие серые глаза

---

\* Днепр.

\*\* Волга (по мнению некоторых авторов).

смотрели ласково. Румяным щекам с чуть заметными веснушками могли бы позавидовать многие эллинские девушки. Сильные красивые руки легко управлялись с лопатой и косой. Она была застенчива, любила цыплят и козлят. По утрам что-то бормотала про себя, воздев руки к небу,— молилась своим богам. Грудь у нее была, как и у всех, и никогда Хризис не бралась ни за лук, ни за копье. Феокрит однажды спросил ее о вечном девстве — правда ли? Сначала не поняла, потом расхохоталась.

— Ты же знаешь, что не был первым... А я никого не убила, клянусь тебе, что никого. Даже кур не люблю резать...

Она на самом деле была незлобива и нежна, золотистоволосая соседка. Жаль, жаль, что нельзя снова стать молодым... Выкупил бы Хризис, женился на ней, уехал куда-нибудь подальше. Подальше от Птолемея и всех вообще благородных владык, охраняемых Зевсом.

Знал, что без покровителей ему не обойтись даже и теперь, да и свитки библиотеки нужны поэту, как трава козам. Иногда хотелось свободы. Писать только то, во что веришь. Почитать лишь достойных почитания. Жить по-своему...

Что-то пушистое коснулось его ноги. Проснувшаяся кошка, подняв хвост, ласкалась к человеку. Поэт погладил ее податливую спину и впервые за это утро вспомнил о Миртилле. «Люблю философов, не люблю философии...» Как она хороша, эта загорелая гетера. И почему так — ведь всякий вчерашний вздор перебирал в памяти: родинку девочки-акробатки, похожую на голову мышонка, лишай на щеке эфеба, соус не то с шафраном, не то не с шафраном... Для всего нашлось место в голове, а Миртилла исчезла. Феокрит вспоминал — Миртилла и Херсий, посматривая друг на друга, уходят в темноту портика. Влюбленные полупьяные дети, которым хочется целоваться. Ну и пусть... Молодое тянется к молодому, а ему там делать нечего. Не старик еще, но для нее он стар.

Что же делаешь ты? Долго ль еще будешь сходить с ума?  
Ты не видишь ужель?— Белых волос много в висках твоих.  
Да, пора поумнеть...

Взглянул вчера на Миртиллу и Херсия и отвернулся. Продолжал беседовать с Неофроном. Когда ложились

спать, последнее, что подумал,— как она хороша, Миртилла, но как жаль, что... Запретил себе думать о ней. Да, именно запретил. Пусть тот юноша... Так и заснул.

В делах любви запреты не прочнее египетских стеклянных сосудов. Чуть ударит жизнь — и остаются одни черепки. Для того запрета, который наложил на себя Феокрит, не понадобилось и удара. Его хватило на ночь, а солнечного утра он не перенес.

Геллеспонт блестел. В саду Неофрона вокруг цветущих яблонь гудели пчелы. Нарядный павлин останавливался и распускал отливающий золотом хвост. Все оживляющее радостное солнце било в лицо. Виски перестали болеть. Феокрит с наслаждением вдыхал горячий воздух, нежно пахнувший миндалем. Взглянул на свое тело. Загорелая кожа упруго блестела. Морщин не было. Нет, он не старик еще... Хотелось жить и любить. Снова промелькнули в памяти собственные Асклеиадовы стихи:

Сердце ж молвило мне: «Кто возмечтал, будто бы так легко  
Будет им побежден Эрос-хитрец, верно, мечтает тот,  
Сколько звезд в небесах ночью прошло, счесть по девяткам

вмиг.

Доброй волей или нет, шею согнув, иго влачить теперь,  
Знаю, мне суждено...

Да, ведь назавтра Миртилла пригласила и его и Херсия. Жаль, что обоих, но что же делать — поборемся, поборемся. Он славный, этот юноша-философ, но пусть-ка завоюет Миртиллу, а так просто он, Феокрит, ее не уступит. Глядя на сияющее море, он готов был поблагодарить небожителей за то, что они привели его на здешний берег, где живет загорелая Миртилла с золотой бабочкой в волосах.

## VI

Глаза поэта блестели. Сам того не замечая, он принялся насвистывать песню гоплитов, идущих в бой. Пальцы отбивали такт.

— Что я слышу?.. Песня воинов... Ты ли это, Феокрит?— Неофрон стоял перед ним вспотевший, в запыленном хитоне — видно, уже успел побывать на полях. Поэт рассмеялся.

— Как будто бы я... А что?

— Не узнаю поклонника мира... Не узнаю. Ты ведь писал Гиерону:

...и пусть паутиною легкой  
Латы затянет паук и слово «война» да умолкнет.

Видишь, я хорошо помню.

— Хорошо, да не все. У меня сначала победа, а потом паутина на не нужных больше латах:

О, если б с острова снова враги наши изгнаны были  
Вновь на сардинские волны, чтоб дома и женам и детям  
Гибель друзей возвестить! Пусть немного их станет из многих!

— Сейчас-то ты кого собирался побеждать?

— Хотя бы твоих врагов, Неофрон.

— Не справишься, друг мой. Слишком их много.

— Ты в этом уверен?

— Вполне. Прежде всего каждый раб хочет стать свободным, а рабов у меня много. Каждый арендатор хотел бы получить свой участок в собственность, а арендаторов у меня много. Ну, что еще... Я не ростовщик, но должников у меня тоже не мало, и каждый почти должник — мой враг. Хватит — пойдем умываться, дорогой гость, а то, пока я кончу, ты успеешь обрасти грязью.

Мылись в саду. Рабы принесли чистые хитоны, губки, полотенца, флаконы с душистым маслом. Неофрон сам повернул рукоятку, и из львиных пастей, припаянных к бронзовым столбам, полились широкие струи. Вода была проведена из горного ручья. Она приятно обожгла тело, прогнала остатки мрачных мыслей. Свежий и бодрый, Феокрит вошел вместе с хозяином в беседку, увитую виноградом. Молодые листья давали мало тени, и на столе, вперемежку с темными пятнами, лежали сверкающие солнечные декадрахмы.\* Утром было принято пить неразведенное вино с хлебом. Неофрон велел принести еще оливок и сыру. Первые глотки поэт сделал с трудом — даже вздрогнул слегка, когда терпкая влага оросила горло. Хозяин похлопал его по плечу.

— Пей, пей, пройдет...

Сам тоже поморщился, прикоснувшись губами к кубку. Феокрит уже преодолел послепиршественный

\* Золотые монеты.

страх перед вином. По телу разлилось тепло. Захотелось и есть. Положил в рот кусок любимого овечьего сыра. Улыбнулся.

— Что же, Неофрон? Пей, пей... Вакх — бог добрый.

— С каких пор ты в него уверовал?

— Как поэт, всегда верил... Твердо верил и верю. Не только в Вакха — во всех богов верю, особенно в Афродиту и Эроса. Готов, как видишь, повторить то, что вчера сказал актер. Без богов нам, поэтам, пришлось бы замолчать. Скучный без них мир, серый, пустой... Вот, возьми первоначальные тельца... Кто его знает, — может быть, и правда, но, согласишься, поэзии в них ни на один стих не хватит.

— Ну, это еще вопрос...

— Мне кажется, что никакого вопроса нет. Пустота, и в ней потоки этих самых телец — плотных, вечных, простых. Как вы еще, эпикурейцы, говорите... бесконечно малых, неделимых, твердых, постоянных... Ты видишь, — я читал внимательно, но это философия, математика — все, что хочешь, а только Эвтерпе\* здесь делать нечего и Эрато\*\* тоже...

— В философии и в математике тоже есть поэзия.

— В математике, по-моему, ровно никакой. Возьми, например, Эвклида. Где там поэзия, Неофрон? В чем? Очень ученая, очень полезная книга, но, право же, каждому свое. Я ни одной теоремы не выдумаю, а Эвклид, вероятно, ни одного стиха не написал. Вот наш александрийский Эратосфен — тот и стихи пишет. Чего только он не умеет, хотя и молод... геометр, хронограф, географ, философ, грамматик, поэт... Только, знаешь, ничего это не доказывает. Оттого, что прекрасный геометр сочиняет плохие стихи, математика поэзией не становится.

Неофрон рассмеялся:

— Верно, друг... Мы с тобой, как посмотришь, недаром слушали софистов...

Рассмеялся и Феокрит. После холодного омовения и вина у него окопчательно прошла хандра. Даже говоря о серьезном, хотелось пошутить. Несколько минут друзья молчали. Ветер шевелил виноградные листья. По столу скользили солнечные блики.

---

\* Муза лирики.

\*\* Муза любовной лирики.

Феокрит продолжал:

— Так вот, Неофрон, по-моему, сколько ни дои математику, поэзии из нее не выдоишь. Философия — другое дело...

— Трудно спорить о поэзии с поэтом, да еще с таким, как ты, но я чувствую, прямо-таки чувствую, что в отношении математики ты неправ. Ты видишь в ней подобие треугольников, площадь круга...

— И многое другое...

— Да, но, коротко говоря, для тебя — это совокупность разных там аксиом, лемм, теорем, чертежи на доске, скучные доказательства...

— Скучные, но полезные, необходимые, согласен с тобой...

— Погоди... Ты не видишь самого главного. Математика — это законы гармонии мира, а в гармонии всегда есть поэзия.

Феокрит пристально посмотрел на собеседника. Задумался.

— Может быть, друг мой, может быть... Беда в том, что ты математику и знаешь, и чувствуешь, а я только знаю, да и то плохо. Если в Эвклидовых «Началах» и есть своя поэзия, то не мне ее уразуметь... Так-то, Неофрон... Мы с тобой оба скоро будем стариками, а смотри, как хорошо побеседовали — совсем, как в давнишние времена. Поспорили, ни в чем почти друг с другом не согласились... Помнишь, у нас в Афинах так же бывало.

— Да... Ты — по-прежнему великий спорщик.

— Ты тоже, Неофрон. Но мы никогда не ссорились — ведь правда? Я не обидел тебя сегодня?

— Что ты, Феокрит, что ты... Может быть, я тебя?

— Давай об этом не будем говорить, а то мы как любовники после долгой разлуки.

— Да, без малого тридцать лет... Кстати, как ты думаешь, Феокрит... Нет, это нелепая мысль...

— Какая же?

— Могут мужчина и женщина не видеться столько времени, сколько мы с тобой, и продолжать любить друг друга?

— Смотря по тому, кто... Брат и сестра, конечно, да. Супруги... Не верится, Неофрон, не верится. Пенелопа и та, хотя ждала мужа двадцать лет, но, ожидая, кажется, изменила.



— Впервые слышу...

— Ты знаешь Пенелопу Гомера, а другие говорят, что, пока Одиссей странствовал, она породнилась с богами. Полюбила Гермеса и родила от него Пана.

— Любят люди сплетничать.

Неофрон предложил гостю осмотреть хозяйство. Миновав цветник, друзья молча шли по аллее между рядами цветущих яблонь. Хозяин с довольным видом поглядывал на немолодые уже, но полные сил деревья. Он ожидал редкостного урожая. Феокрит просто любовался яблонями. В Александрии, по соседству с сухой знойной пустыней, они росли плохо. Опять вспомнил молодость и остров Кос. Там среди душистых яблоневых шатров он впервые встретил подругу, о которой писал:

Да, Симихиду на счастье чихнули Эроты; ах, бедный!  
Так же влюблен он в Мирто, как влюбляются козы весною.

Она умерла давно...

Уже много лет не видел он такого цветения, как в саду Неофрона, — не аллея, а душистый, пчелогудящий коридор. Ни листьев, ни ветвей — одни крупные белые цветы, кое-где тронутые розовым наплывом.

За яблонями с одной стороны стройными рядами стояли молодые серебристо-зеленые маслины, насаженные Неофроном после смерти отца. С другой стороны начинались бесчисленные кусты большого ягодного сада, обрамленного стеной высоких, по-молодому стройных кипарисов. Там работали полуобнаженные рабыни-садовницы и несколько совсем голых рабов. Старик-надсмотрщик в коротком хитоне и шапке из собачьего меха стоял в тени, опираясь на толстую палку. Блестели на солнце бронзово-загорелые потные спины. Мелькали черные головы эллинов и похожие на лен космы северных варваров. Кто-то из них вполголоса пел на своем непонятном языке.

Не прерывая работы, рабы посматривали на аллею. Кое-где между деревьями были просветы. Вот мелькнули в одном из них двое — хозяин и тот приезжий, в честь которого был устроен пир. Идут дальше. Вышли из-за деревьев, остановились, смотрят. Только бы сюда не пришли... Надсмотрщик зычно крикнул. Рабы быстрее заработали мотыгами.

Домик с тростниковой крышей, который наняла Миртилла, поселившись в Лампсаке, стоял в саду. Комнату побольше занимала хозяйка, во второй, совсем маленькой, помещалась служанка. Просторные сени служили заодно и кухней — у задней стены находился очаг. Пользовались им только зимой и в очень плохую погоду. Обыкновенно готовили в саду. Позади домика предыдущие жильцы соорудили печь под деревянным навесом. Ее скрывали высокие кусты гранатов.

Сад был подстать скромному жилищу — старый развесистый платан на лужайке перед входом в домик, десятка два фруктовых деревьев, разросшиеся гранаты, несколько клумб с цветами — вот и все. Но Миртилла полюбила свой садик — и платан, начавший уже сохнуть от старости, и давно не подрезавшиеся яблони, которые, осенью принесли множество крупных, уютно пахнувших плодов. Особенно любила клумбы. Когда перешла сюда, их не было. Густая трава, репейник и крапива покрывали остатки расползшихся грядок, похожих на заброшенные могилы. Миртилла вдвоем со служанкой начала воевать с сорняками, вскапывать, удобрять землю. Старалась беречь руки, но в ту осень поклонники все же жаловались, что они стали шершавыми. Потом, с наступлением тепла, принялась возиться с рассадой, поливала, полола. Год тому назад в конце месяца антестериона\* расцвели ее первые собственные фиалки — крупные, душистые, с желтыми ротиками. Потом распустился шафран, анемоны, нарциссы, яркопламенные маки. Еще позже, когда ночи стали удушливо-жаркими и мерцающие светляки начали летать вокруг темных кустов, зацвели наконец и лилии, белые, как зимняя шапка Гиметта. Миртилла вдыхала их аромат и благодарила богов, создавших цветы.

Нравилось ей и то, что сад окружала не изгородь, как у других, а стена из дикого камня выше человеческого роста. Когда-то здесь жил ростовщик, боявшийся и должников, и соседей, и всех вообще людей. Должников у Миртиллы не было, боялась она только холода, привидений, пьяных и дурного глаза, но так часто приходилось гетере бывать на людях, что у себя дома ей нравилось

---

\* Февраль-март.

становиться невидимкой. К тому же сызмальства она любила солнце. Полюбила в Лампсакe и море. В Афинах до побережья далеко, а здесь выйди за город, и купайся, сколько хочешь. Но выйти за город не всегда можно — немало дел у гетеры, а снять в садике хитон — одно мгновение. Утром солнце нежит привычное загорелое тело, днем обжигает его золотистым огнем, вечером опять ласкает на прощание. Миртилла в дружбе с Гелиосом. Когда услышала впервые миф о Дедале и Икаре, подумала, что, будь она на месте дерзкого юноши, солнечный бог, наверное, пожалел бы ее и не растопил воск искусно привязанных крыльев. Знала, что, сколько она ни лежи обнаженной на самом солнцепеке, кожа не начнет лупиться, и не пойдут по ней пузыри, как у тех, которые вечно прячутся под покрывалами и зонтиками. Не хотела только, чтобы во время солнечного купания ее видели старые завистливые соседки, которым уже и перед мужьями стыдно показаться без одежды. У мужчин-то обыкновенно глаз добрый, а иная злобная бабка-колдунья умеет накликать беду...

Появилась у Миртиллы заветная мечта — накопить столько денег, чтобы купить этот домик и сад. Лучшего места в Лампсакe не найти, а в Афины она возвращаться не хочет. Свой город, чудесный город... Говорят, второго такого нет во всей ойкумене. Но что она там?.. Ничто... Сама знает, что ничто и ничем никогда не станет. Одна из великого множества неудачливых гетер.

Вспоминая Афины, часто размышляет о том, почему же ей не повезло в родном городе. Неученая, правда... Не прошла ни одной из знаменитых школ гетер — ни у себя, ни в Милете, ни в Абидосе — для этого большие деньги нужны. Любит и ласкает попросту. На кифаре играть не умеет. Философии не знает. Пробовала было заняться ею, но ничего не вышло. В самом деле голова от этого болит, и даже начинает тошнить. Читать, писать, правда, умеет, но мало же этого... Вот и Неофрон — когда пришел приглашать, завел сначала такой умный разговор, что и не понять. Хотел, видно, испытать, но сразу бросил. Заговорил об афинском театре. Ну, это она могла... А один молодой врач, тот спросил прямо — читать-то ты, красавица, умеешь? Обиделась — и за себя, и за Афины. Сказала, что там нет неграмотных гетер. Соврала, конечно, — всякие есть... Только не в учении все

же дело — ни прежде, ни теперь. Аспазия, правда, была ученая, а Фрина — чему она училась?.. Кому как повезет. Что раньше было, то и сейчас. Иная до старости букв не умеет разбирать, а живет, как царица. Другая школу кончит, чуть не целые книги знает наизусть, а нет ей удачи.

Хвала Киприде, никто не назовет Миртиллу «дромос» — уличной потаскушкой, ни «пандозией» — все дозволяющей, ни «полос» — кобылкой. Она гетера, гетерой и останется. И все же Миртилла чувствовала, что в Афинах ей на большую воду не выплыть. Не станет она подругой ни философа, ни поэта, ни ученого какого-нибудь, которого знает целый свет. От таких людях и думать не приходилось, но хотя бы выбиться, хоть бы приконить на старость. Нет ведь несчастнее существа, чем состарившаяся гетера, у которой нет денег.

Миртилла думала не только о себе. Ее старость еще далеко. А вот мать... Старееет она — уже больше пятидесяти. Всю жизнь работала — и девушкой и замужем. Сначала арендовали огород под городом на берегу Иласса, потом выкупили участок. Жилось неплохо, но однажды, знойной осенью, когда Миртилла была еще маленькой, отец заболел жестокой лихорадкой и через три дня умер. С тех пор и бьется мать одна. Лет до шестнадцати Миртилла ей помогала, а потом стала гетерой. Свободнорожденным девушкам с рабынями водиться не подобало. Подруги Миртиллы тоже были свободнорожденные, но все почти такие же бедные, как и она. Не раз они ее подбивали:— Красива ты — будешь хорошо зарабатывать...

В Афинах все еще были свежи предания о знаменитой Фрине. Фрина родилась в Феспиях и сначала ее звали Мнесаретой. Была бедной-бедной торговкой овощами. Кто-то надоумил переселиться в недалекие Афины. Там она быстро прославилась и разбогатела. Завистницы за очень белую кожу прозвали молодую гетеру «Фриной» — белобрюхой жабой. Прозвище стало именем, но потом никто уже не думал о том, что оно значит. Скульпторы, любуясь прекрасным телом гетеры, высекали статуи богинь. Однажды она попала под суд, но во время разбирательства дела защитник сорвал с Фрины одежду, и восхищенные судьи оправдали красавицу.

Миртилла в то время еще не знала грамоты, но, что

ее занимало, о том любила разузнать подробнее. Захотелось собственными глазами увидеть Фрину. Спросила, в каких же богинь ее превратили ваятели, и где эти статуи — не в Афинах ли? Ни одна из подруг не знала. Не знала даже Олимпиада, единственная из них, которая умела читать и писать, но Миртилла расхрабрилась и пошла к ее отцу, учителю грамматической школы. Попросила рассказать и о самой Фрине и о статуях.

Впервые услышала в тот вечер имя Праксителя, любовницей которого одно время была прекрасная уроженка Феспий. Долгие часы она простаивала в его мастерской, и, смотря на подругу, скульптор высек из пентеликонского мрамора две статуи Афродиты. Одна представляла богиню одетой, другая совершенно обнаженной. Пракситель предложил их на выбор гражданам острова Коса. Тогда еще не было в обычае изображать небожительниц нагими, и на Кос увезли Афродиту, облеченную в пеплос и гиматий. Она была прекрасна, но статуя обнаженной богини, которую купили жители Книды, прославила этот карийский город во всей ойкумене. Потом за нее предлагали книдянам огромные деньги, но они и слышать не хотели о продаже. Знаменитая статуя стоит там посреди храма, и, молясь Афродите, люди видят перед собой давно умершую Фрину. В Афинах ее изображений, кажется, не осталось. Говорят, что великий Апеллес написал с Фрины свою Афродиту Анадиомену — встающую из пены, но эта картина тоже не здесь.

— Вот, Миртилла, — сказал учитель, — если попадешь когда-нибудь в Дельфы — это же не так далеко, увидишь статую Фрины, которую воздвигли жители этого города, чтобы прославить лишний раз ее красоту, а заодно и самих себя. Некоторые утверждают, что статуя вылита из чистого золота, но ты не верь — она только позолоченная. А если побываешь в Феспиях — совсем ведь недалеко — там тебе всякий укажет Эрота Праксителя. Фрина его выпросила у ваятеля и подарила родному городу. Да, вероятно, только богини прекраснее, чем была эта женщина...

Босоногая слушательница громко вздохнула.

— Ты что это, Миртилла... Завидуешь?

Девушка покраснела и ничего не ответила. Близорукый учитель подсел поближе, внимательно посмотрел на подругу дочери, давно не бывавшую в его доме, и вдруг

заметил, что за последний год она неузнаваемо похорошела. Недавно еще была нескладной, длиннорукой и длинноногой юницей, а теперь почти взрослая. По-прежнему вид простолюдинки — хитон чистый, но выглажен плохо, волосы причесаны неумело, ногти обстрижены кое-как, загорела до черноты. Лицо же прелестное, в больших черных глазах веселый огонь, а обнаженные руки и ноги уже сейчас достойны резца скульптора.

Учитель знал немало и был мастер рассказывать, но ему часто не хватало слушателей. Жена давно умерла. В грамматической школе он целый день возился с сопляками-мальчишками, которых приходилось обучать азбуке. Дочь Олимпиада думала только о женихах и отцовских рассказах не любила, а черноглазая огородница весь вечер слушала на удивление внимательно. Узнала между прочим, что Фрина на самом деле была несметно богата. Предложила даже отстроить за свой счет стены Фив, разрушенные Александром, с тем условием, что фиванцы почтят ее надписью. Рассказчик, привыкший к школьникам, спросил, знает ли Миртилла, кто такой был Александр. О великом царе-воине она кое-что слышала, но постеснялась спросить, где это Фивы и зачем Александру понадобилось их разрушать. Запомнила, что фиванцы Фрину не обманули. Надпись в ее честь гласит: «Александр разрушил стены Фив, а гетера Фрина восстановила их».

Вернувшись домой, Миртилла долго не могла уснуть. Была томительно жаркая летняя ночь. Девушка вымыла пыльные ноги и улеглась рядом с матерью в садике под старой маслиной. Смотрела на посеребренную луной листву и вспоминала то, о чем рассказывал отец Олимпиады. Потом Миртилле приснилось, что она стоит нагая перед каким-то скульптором и тот высекает ее статую из блестящего мрамора. Было и стыдно, и страшно, и весело, но бородатый полуголый ваятель вдруг превратился в юношу — сына лавочника, с которым она однажды целовалась. Стыд исчез, пришла мучительная радость. Они куда-то летели вдвоем, и сын лавочника нашептывал:— Миртилла, Миртилла, не будь ты дурочкой...

Отец Олимпиады тоже заснул не сразу. Размышлял, рассчитывал. Почтенное ремесло грамматика приносило очень мало денег. Учителя жили бедно, а у него было трое рабов, как у людей зажиточных. Посторонние счи-

тали, что грамматик проживает какое-то наследство. Олимпиада знала, что никакого наследства не было, но не задумывалась над тем, откуда же отец добывает столько денег. Сам он никогда об этом с дочерью не говорил. Держал от нее в тайне второе свое занятие — менее почтенное, но более прибыльное. Подслеповатый учитель стакнулся с двумя метеками\*, которые торговали рабами — главным образом подростками и детьми. Почти каждый вечер он ходил обучать этих подневольных ребят искусству разыгрывать миметические представления. Под руководством знатока мифологии обнаженные мальчики и девочки изображали похождения богов со смертными женщинами, воспетые Гесиодом в его «Эоях». Неумелых и строптивых учитель тут же стегал плеткой. Сопротивлялись не все. Некоторым, особенно мальчикам побойчее, наука нравилась, и потом на пирах богачей дети-рабы играли так естественно, что зрители удивлялись и восхищались.

Иногда учителю грамматической школы, любившему к тому же философию стоиков, бывало не по себе, но он утешался мыслью о том, что даже великий Сократ не прочь был порой полюбоваться подобными зрелищами.

Миртиллу, хотя и простолюдинку, но свободнорожденную, конечно, нельзя было использовать вместе с рабами. Однако у грамматика было еще и третье занятие, тоже тайное и уважением не пользовавшееся. При случае он сводил девушек, еще не знавших любви, с богатыми распутниками, которым женщины с опытом успели надоесть. За такие услуги учителю платили щедро.

Он сразу понял, что юная огородница не прочь стать гетерой. Пригласил приходиться почаще, если ей не скучно его слушать. Миртилла, к большому удовольствию любившей ее Олимпиады, стала ходить к ней по два, по три раза в неделю. Если подруга была занята, охотно проводила время с ее отцом. Прилежно слушала рассказы грамматика. Узнала от него об Аспазии, подруге Перикла и учительнице многих ораторов, о Герпеллиде, любовнице Аристотеля, о Лаиде старшей, такой же богачке, как и Фрина, и о многих других знаменитых гетерах. О судьбе Лаиды младшей учитель из осторожности

---

\* Иностранцы, постоянно проживающие в Афинах. Они подвергались многочисленным правовым ограничениям.

умолчал — предание гласило, что где-то в Фессалии жены ее любовников побили блудницу камнями в храме Афродиты. Зато рассказал об алтарях, воздвигнутых в честь гетер в разных городах Эллады. Говорил не об одних только гетерах. Девушка услышала заодно немало занимательных историй о богах и богинях, которые зачастую вели себя совсем как люди и даже хуже людей.

Мифы были интересны, но Миртилла и раньше знала, что времена теперь не прежние. Боги давно перестали сходить на землю, и смертная не могла больше встретиться ни с Зевсом, ни с Аполлоном, ни с Гермесом. Не хотели знать женщин и полубоги. Приходилось рассчитывать, самое большее, на знаменитых людей, но, чтобы стать подружкой кого-нибудь из них, нужно было хотя бы читать и писать. Миртилла попросила грамматика обучить ее грамоте. Учитель охотно согласился. Грамотная красавица ценилась дороже неграмотной, и он надеялся заработать на своей ученице немало мин\*.

Миртилла долго не решалась сказать матери о своем желании стать гетерой. Боялась ее огорчить. Старые люди ведь боятся перемен... Когда наконец сказала, оказалось, что мать давно догадалась, но совсем не огорчена. Отчего же нет... Не копать же ее девочке целый век на огороде, как она сама копалась. Приятельницы матери, огородницы и рыночные торговки, тоже одобрили. Гетера, если ей повезет, может так разбогатеть, что ой, ой, ой... Какие дома у некоторых — дворцы настоящие... И какие люди с ними дружат — первые в Афинах.

Но до дворцов и первых людей оказалось очень далеко. Их Миртилла и в глаза не видела. Зарабатывала она не так и мало, но все почти уходило на наряды, на обувь, на благовония. Нельзя иначе гетере... Мать никогда не упрекала дочь, но Миртилла сама чувствовала, что не того она ждала от нее. Надеялась, что можно будет продать огород и наконец отдохнуть, а приходилось по-прежнему работать и работать. И матери было тяжело, и дочь стыдилась покупать новый шелковый тарантидион, когда ее старушка ходит в заплатанном хитоне. Не раз уже было стыдно, а этот тарантидион стал жечь совесть. Купить все-таки купила, но в тот же день реши-

---

\* Мина — около 32 рублей золотом.



ла бесповоротно, что из Афин она уедет. Уедет, добьется достатка и тогда возьмет мать к себе. Надо попытаться счастья, пока она еще совсем молода. Что может удасться в семнадцать, то лет через десять, наверное, не удасться.

Начала расспрашивать, куда бы стоило поехать. Знающие люди советовали — только не в города Великой Греции\* — там эллинских гетер всюду много. В египетские порты тоже не стоит. Лучше всего выбрать какой-нибудь не очень большой, но богатый город подальше от Эллады. В таких краях афинянки в почете. Если не боится холода, пусть едет в Тавриду — там разбогатеет сразу. Но холода Миртилла боялась больше всего — даже больше привидений, пьяных и дурного глаза. Таврида казалась ей концом света, и туда она не поехала. Случайно встретила гончара из Лампсака, приехавшего на побывку к брату. Человек был пожилой, надежный. Расспросила его, что и как. Сходила, как водится, к гадалке. Бобы предвещали удачу. Попросила гончара взять с собой — одной было страшно ехать в такую даль. Тот подумал, подумал и согласился. Кой-какие сбережения у Миртиллы все же были, и она обещала за все платить сама.

Поплакала на могиле отца, поплакала, прощаясь с подругами. Разрыдалась, прощаясь с матерью.

В пути очень страдала от качки — никогда раньше не бывала в море. Когда сошла на берег и впервые посмотрела в зеркало, сама себя не узнала — лицо пожелтело, словно после горячки, глаза ввалились, почерневшие губы растрескались. Еле донесла свой нетяжелый узел — не много имущества было тогда у Миртиллы... Гончар устроил ее у своей сестры, старухи-огородницы на хуторке за городом. Дня три пролежала у нее в каморке. Потом пришла в себя, выкупалась в море, пожарилась как следует на солнце, снова выкупалась и вернулась домой, как и прежде, веселой и бодрой. Огородница ее полюбила. Афинская гетера не спешила устраивать свои дела. Пока что, босиком, подоткнув хитон, копалась вместе с хозяйкой в огороде. В город ходила, завернувшись в гиматий, да и то только по вечерам. Не хотела, чтобы ее видели раньше времени. Присматри-

---

\* Южная Италия.

валась, прислушивалась. Может быть, еще и не стоит оставаться в Лампсаке...

Вскоре решила, что стоит. Город и большой и богатый. Много царских чиновников, купцов, ничего не делающих философов. Стоит немалый гарнизон. И театр есть, а при нем свой синод\* актеров. Гетеры же совсем простенькие — в Афинах такие девки бродят по улицам или стоят перед дверями порнейонов\*\*. Больше все фракийские рабыни, коренастые грубые женщины, которые плохо говорят по-гречески и прячутся от солнца. Миртилле объяснили, что гречанки стараются попасть в Абидос, где прославленная школа гетер и храм Афродиты Блудницы. Но до этого города хотя и близко, а в Лампсаке не в обычае туда ездить. Молодая афинянка надеялась, что здесь она будет первой. Должны же мужчины понять, что ее бронзовое тело куда красивее, чем поросычья белизна их здешних подруг.

Шестидесятилетняя огородница жила одна. Бойкая старуха отлично знала свой город — всю жизнь из него не выезжала. При ней и разбогател и разросся Лампсак. Огородница нашла своей жилище комнату близ храма Аполлона и рынка. Новая хозяйка, тоже одинокая старая вдова, была рада взять подороже с гетеры. Сразу обещала не вмешиваться в ее дела. Она же и рассказала, кому стоило, что в Лампсак приехала гетера из Афин, по сравнению с которой все здешние гетеры все равно что чадающие плошки перед Каллипольским маяком.

Некоторые не поверили, другие решили проверить. Месяца через три у Миртиллы нашлись такие поклонники, что она смогла нанять домик, в который пригласила Феокрита и Херсия.

Молодому философу сказала неправду — трудно гетере не лгать. На другой день после пира никакого свидания с македонским воином из Каллиполя у нее не предстояло — этот воин уже месяц назад уплыл на родину. Честно исполнил то, что обещал, — перед отъездом надел Миртилле на руку браслет в виде двух цапель с вытянутыми шеями. Гетера спрятала его вместе с другими драгоценностями в бронзовый ларец, который держала в тайнике. Обманула Херсия — невелик, прав-

---

\* Товарищество.

\*\* Публичные дома.

да, обман,— чтобы отдохнуть денек после утомительного пира. Она знала, что значит позвать гостей и самой все приготовить. Недавно нанятая новая служанка была совсем еще неопытная. Неоткуда было и научиться готовить по-городскому дочери полунизшего крестьянина-лаоля\*, только что с голодухи ушедшей в Лампсак.

### VIII

Миртилла решила угостить Феокрита, а заодно и Херсия, как можно лучше. Прислушиваясь к тому, как говорили с поэтом на пиру самые почетные гости, гетера поняла, что он очень известный человек. С таким она еще никогда не встречалась. Возвращаясь полупьяная на рассвете от Неофрона, подумала: «Вот, если бы...» Вздохнула и сказала себе, что и думать не стоит. Не таких, как она, знавал поэт Феокрит. Хоть бы только остался доволен угощением, раз уж согласился прийти. Почему-то Миртилла сразу поверила, что этот человек не обманет.

Весь день отдыхала. Велела служанке никого не пускать. Она больна,— и все... Следующую ночь спала беспокойно. Снились оба — и Херсий и Феокрит. Ранним утром отправилась со служанкой на рынок. Мысли были заняты предстоящей встречей со знаменитым человеком. Пожалела даже, что пришлось пригласить и Херсия: все же лучше было бы без него... Но, Феокрит, пожалуй, не захотел бы прийти один.

Миртилла купила все самое лучшее, что удалось найти: живую морскую рыбу, плававшую в кадке, жирную баранью ногу, крупных виноградных улиток, лукошко ранних вишен, привезенных откуда-то с юга. В винном погребе взяла три сорта вина. Тесто для медовых пряников, обещанных гостям, было замешено с вечера.

Подумала заранее и о том, как оденется. Конечно, иначе, чем на пиру,— одно и то же надоедает, да и надо дома выглядеть поскромнее. Решила на этот раз надеть длинный хитон из матового темно-вишневого шелка с египетским узором. Волосы стянет лентой под цвет платья и сандалии наденет тоже темно-вишневые. Зна-

---

\* Полукрепостное деревенское население.

ла, какие тона идут к ее загорелой коже и иссиня-черным волосам.

В знойный весенний день у раскаленной печи было нестерпимо жарко. Густые гранатовые кусты не пропускали под навес ни струйки ветра. Кое-как повязав волосы косынкой, босая, в коротком хитоне, измазанном сажей, Миртилла пекла, жарила, варила, обливаясь потом, и только изредка выбегала в сад подышать свежим воздухом. О времени она не думала.

Наконец все было готово. Оставалось умыться и одеться. Утомленная Миртилла вышла из-под навеса, вытерла лицо подолом хитона. Потом взглянула на вытянувшиеся тени деревьев и перепугалась. Близился вечер, вот-вот должны были подойти гости.

Опрометью побежала домой и у самого входа едва не столкнулась с Феокритом. Херсий закрывал калитку. Миртилла растерялась. Не здороваясь, закрыла лицо руками. Горько заплакала. Феокрит сразу понял, в чем дело.

Сильными руками ласково обнял ее вздрагивающие плечи. Поцеловал пропахший кухонным чадом локон, который выбился из-под грязной косынки. Миртилла уткнулась в плечо поэта и еще сильнее заплакала. Вперемежку с рыданиями повторяла:

— Ой, как мне стыд-д-но...

— Девочка моя милая, ну чего ты, чего ты... Захлопоталась хозяйюшка, а мы раньше времени пришли, и все тут... Ничего стыдного нет...

Ласковая тяжелая рука гладила спину. Совсем, как отец, когда была маленькой... Несмело подняла голову. Сквозь туман слез увидела добрые карие глаза. И голос поэта звучал растроганно:

— Ну, хозяйюшка, хозяйюшка, успокойся... Иди, приводись в порядок, а мы посидим тут. У тебя хорошо, Миртилла. И не спеши, не спеши...

Плакать уже не хотелось, хотя голос прерывался, а по загорелым, испачканным сажей щекам все еще скапывались слезы.

— Так ты не сердись на меня, Феокрит?

— Глупая ты девочка, Миртилла, совсем глупая...

Она радостно улыбнулась. И в самом деле все это не так уж ужасно...

Поэт нагнулся к маленькому уху гетеры. Шепнул:

— Хозяюшка, только у меня к тебе просьба, большая-пребольшая просьба... Исполнишь?

— Все исполню, Феокрит... Все, что только смогу.

— Ну, это ты сможешь, если захочешь... Не рядись, милая. Хочу тебя видеть дома домашней. Согласна?

— Согласна, согласна...

Про себя пожалела, что пришлось согласиться. Нарядный хитон, тщательно разглаженный накануне, ждал ее на постели. Была приготовлена и задуманная лента и сандалии. Нечего делать, не придется, значит, а то в самом деле рассердится. Миртилла кликнула служанку. Велела достать обыкновенный полотняный хитон и белую ленту. Принялась умываться.

Феокрит и Херсий уселись на скамейке под платаном. Молодая листва престарелого дерева еще пропускала кое-где солнечные струйки. Сияющие пятна золотили прошлогодние сухие листья, пронзенные иглами травинки. Шарик уже отцветших одуванчиков отливали белесым серебром. Золотистыми искорками вспыхивали пчелы, разыскивающие цветы. Стояла жаркая предвечерняя тишь.

Поэт мельком взглянул на Херсию. Юноша сидел пригорюнившись. Голова ушла в плечи. Слезы Миртилы были для Феокрита. На него, Херсия, она и внимания не обратила. Пришел, не пришел — все равно... Поиграла только третьего дня. Следовало бы ему теперь же уйти, но нельзя обидеть старшего. Так легко было прочесть на помрачневшем лице философа его немудреные чувства, что и не такой наблюдатель, как Феокрит, не ошибся бы. Поэт несколько минут помолчал, поглядывая на пчелиные искорки над травой. Потом, взял юношу за руку, ласково спросил:

— Итак, Херсий, ты огорчен?

— Да нет... чем же... почему? — в неуверенном голосе слышалась неумело скрываемая досада.

— Тем, что увидел нашу красавицу с носом в саже и с грязными ногами...

Не зная, куда же клонит поэт, Херсий не ответил, а Феокрит продолжал:

— Друг мой, утешься... Станешь постарше, поймешь, что есть немало случаев, когда женщину, будь она прекрасна, как сама Афродита, видеть все-таки не следует. Например, роды... Ты их, конечно, не видел?

— Я же не повивальна: бабка и не врач...— юноша уже едва сдерживал нараставшее раздражение.

Феокрит сделал вид, что не замечает гневных глаз и голоса, чересчур громкого для собеседника, сидящего рядом. Продолжал спокойно:

— Я, Херсий, как ты, наверное, знаешь, тоже не врач. Я только друг врача, а роды мне все же однажды пришлось не только видеть, но и помогать при них. Никого больше не было — когда-нибудь расскажу. Кончилось благополучно, но, знаешь, второй раз не хотел бы. И страшно и, скажу правду, с непривычки мутит...

— Еще бы...— голос юноши стал тише.

— Да, но подумай Херсий, какая это великая, чудесная тайна. Не было ничего, потом прегадкий кусочек мяса — мой друг Никий мне однажды показал, — а в конце концов в мир приходит новый человек. Только смотреть на это нам, мужчинам, нельзя. Так уж, видно, сама природа устроила.

— Думаю, что божество...

— Не успеем поспорить, Херсий. Красивые женщины одеваются быстрее дурнушек. Так вот не хандри — без сажи, без грязи, без замасленных хитонов не обойтись. Ко всему надо привыкать. Жизнь...

Феокрит знал, конечно, что не растерзанный вид Миртиллы огорчил Херсия. Хотел только направить мысли юноши в другую сторону. Овладел ими. Направил. По привычке к философствованию Херсий принялся рассуждать о жизни вообще. Ревнивые чувства утихомирились. Миртилла застала обоих гостей спокойно беседующими. При ее приближении они поднялись со скамейки.

— Простите меня... Я так долго.

— Совсем не долго, Миртилла.

— Мы и не заметили.

Умывшись холодной водой и выпив глоток другой неразведенного вина, она стала прежней. Улыбалась задорно. Глаза блестели. Взглянув на Феокрита, сразу почувствовала, что он ею доволен. Хотел простоты — проще уже нельзя. Хитон из тонкого льняного полотна, собранный на груди в мелкие складки, казался еще белее по сравнению с загорелой кожей. Волосы стягивала белая, дважды обвитая лента. Драгоценностей Миртиллы не надсла. Только на левом мизинце осталось

колечко с мелким изумрудом, подарок матери, которого она никогда не снимала. Духи все же выбрала самые дорогие — на этот счет ведь уговора не было. В крохотном флакончике из радужного финкийского стекла она берёгла последние капли янтарного цвета жидкости, будто бы привезенной из Индии. Мужчины уверяли, что от ее вкрадчивого нежного запаха непонятно путаются мысли и хочется любить... В этом аромате было слишком много от Александрии. Поэт предпочел бы запах, какой бывает у пастушек, недавно вымывшихся в горном ручье, но Херсия душистая волна сразу захлестнула. Он опять обозлился бы на Феокрита, не будь улыбки Миртиллы, которая на этот раз не забыла одарить и его.

— Дорогие гости, а гиматии, а обувь? Мы же не на прогулке. Эввоя, живо помоги снять и отнеси! — Сбросила сандалии. Спихватилась. — Хороша же я... Венки-то и забыла. Погодите.

Сама принесла из погреба плоскую корзинку с тремя венками, спрыснутыми водой.

— Ну, вот... Теперь пойдете есть.

— Слово хозяйки — закон, но у меня к тебе еще одна просьба, Миртилла. Не пугайся — последняя...

— Я готова исполнить сколько угодно твоих просьб, Феокрит.

Херсий снова нахмурился. Подумал: «А моих, наверное, ни одной»...

— В такую погоду грешно сидеть под крышей. И смотри, Миртилла: у тебя прекрасная столовая под этим платаном. Угости нас здесь!

Хозяйка чуть заметно поморщилась. Стол был накрыт, взятые напрокат парадные ложа расставлены, и вдруг... Феокрит поспешно сказал:

— Может быть, тебе неудобно, тогда...

— Нет, нет, что ты, Феокрит... Только вот ложа... они довольно тяжелые.

— Наверное, не такие уж тяжелые, чтобы мы с Херсией их не унесли, но не в этом дело, Миртилла. Никаких лож не надо — давай пировать на траве. Кусок холста на землю, мы кругом — и все... Поверь мне — так будет веселее. Мы тебе поможем... Распоряжайся!

Все ее планы были перепутаны, но юная женщина почувствовала, что нет худа без добра: уступая, она сближалась с Феокритом. Знаменитый человек помог

разостлать холст. Никого не спрашиваясь, притащил из сарайчика большую охапку тростника, чтобы хитоны не испачкались о траву. Принес и блюдо с рыбой, предоставив баранью ногу Херсию. Не просто принес, а изобразил старого придворного слугу, несущего кушанье к царскому столу. Принял при этом такой важный вид, что Миртилла расхохоталась и окончательно перестала стесняться знаменитого человека. Оказалось, что с ним легче и проще, чем со многими, вовсе не знаменитыми.

Аппетит у поэта был отличный. Он с удовольствием ел и хвалил все — и рыбу, и баранью ногу, и улиток, поданных на шипящей сковородке. Когда пришло время вина и Эвноя убрала объедки, Феокрит с серьезным видом спросил хозяйку:

— Миртилла, кому из небожителей мы совершим возлияние?

— Афродите, Афродите!

— Хорошо... я так и думал, что ты назовешь ее.

Трое пирующих встали. Феокрит прочел две первых строфы песни к Афродите, когда-то написанной лесбоской песнопевницей Сапфо:

Златотронная, Зевсова дочь, Афродита,  
Я к тебе, чаровница, с мольбой припадаю!  
Пусть меня, о владычица, больше не мучат  
Скорбь и печали!  
О явись предо мной! Ведь и в годы былые,  
На призывы мои откликаясь послушно,  
Не однажды чертоги отца золотые  
Ты покидала\*.

Кончив чтение, поэт медленно вылил на траву полный килик вина, сдобренного медом. Для Феокрита богиня любви, как и все небожители, давно уже была лишь мечтой, оживлявшей бездушно-холодный мир, но он чувствовал, что Миртилла верит в нее свято. Веру же простых людей он уважал. Думал, что обездоленным и неученым с ней легче жить да и легче умирать.

Обязанности виночерпия принял на себя Херсий. Близость душистой Миртиллы, предвечерняя тишина, низкий приятный голос Феокрита утихомирили его смятенные чувства. И ему было хорошо на этом пиру трех.

Выпив за здоровье гостей, Миртилла спросила:

---

\* Перевод Г. Ф. Церетели.



— Скажи, Феокрит, ты свои стихи прочел о богине? Правда, свои?

— Нет, милая, мне таких не написать.

— Ну что ты. Ты еще лучше можешь.

— Ошибаешься... И разве ты не чувствуешь, что этот гимн написала женщина?

— Твоя знакомая?— в голосе Миртиллы прозвучала тревога, обрадовавшая поэта. Хотелось рассмеяться, но он ответил серьезно:

— Нет, она давно умерла... очень давно. Лет так за двести до того, как родилась бабушка твоей прабабушки. Ты никогда не слышала о Сапфо?

— Что-то помню. Она от несчастной любви бросилась в море с какой-то скалы. Я бы не могла...

— И не надо, Миртилла, дорогая... Живи, радуй людей!.. Только о Сапфо ты вспомнила как раз то, чего не было. Она любила многих — и счастливо, и несчастно, но с Левкадской скалы не бросилась. Умерла, как и все.

— Молодой?

— Нет, кажется, старенькой... Во всяком случае не молодой. Вообще-то о ее жизни много рассказов, но что правда, что выдумка, теперь не разобрать. Да это и не важно... После поэта остаются его песни. В них он живет, а до настоящей его жизни кому какое дело?

— Нет, как же... Я бы, например, очень хотела знать о твоей, Феокрит. Когда-нибудь мне расскажешь? Ты так хорошо говоришь...

— Кое-что расскажу, если хочешь.

— Не все?

— Не все.

— А я бы хотела все.

— Все не могу. Ведь вспоминать — значит снова переживать, а в жизни встречается немало такого, что хотелось бы навсегда забыть. Правда, Миртилла?

Она молча кивнула. Задумалась. Да, да, многое хочется забыть, даже в девятнадцать лет. Вспомнила, как, решив стать гетерой, впервые отдалась старому купцу, с которым ее свел афинский грамматик. Девушкой была. Когда-то мечтала, что, по обычаю, поблагодарит Артемиду, богиню-девственницу, за то, что защитила от соблазнов. Посвятит ей свои детские игрушки и принесет в жертву пару белых голубей. Потом мать невесты пойдет за колесницей новобрачных с зажженным факелом.

лом. Понесет огонь со своего очага в дом молодых, а гости будут петь свадебную песнь — гимней. И ничего этого не было... Был сопевший потный старик, боль, стыд... А незадолго перед отъездом из Афин как ее таскал за волосы один негодяй. Прожил на даровщину два месяца, избил, выгнал полуголой на улицу, точно простую порне. Да, да, не стоит вспоминать, а то... Губы Миртиллы задрожали.

Феокрит пожалел, что задал свой неосторожный вопрос. Взял ее за руку, погладил:

— Не надо, не надо, славная моя. Прости. У каждого так... Думаешь, в самом деле в моей жизни не было такого, о чем не хочется вспоминать? Сколько еще было. Я почти старик...

— Неправда, Феокрит...

— Какая там неправда. Не надо себя обманывать, Миртилла, еще пять-шесть лет — и кончено...

Поэт говорил искренне. Сразу нахлынула грусть. Готовая заплакать, Миртилла стала похожей на обиженную девочку, и Феокрит с тоской подумал о том, что у него идет к концу шестой десяток.

Слушая, что говорят Миртилла и Феокрит, Херсий опять почувствовал себя лишним. Молча сидел с видом гостя, обнесенного лакомым блюдом. К нему не обращались, о нем забыли. Подумал: а жаль, что эти пять-шесть лет уже не прошли.

Все время думает человек, когда не спит. Каждый по-своему думает. Миртилла тоже подумала об этих пяти-шести годах. Провести бы их вместе с Феокритом... Мысли быстрее слов — много их пронеслось в трех головах, прежде чем умолкнувший на минуту Феокрит снова заговорил.

— ...Жизнь, которую стоит жить, близится к концу, и хочешь не хочешь, а приходится подсчитать прибыли и убытки. Не знаем ведь, что с нами будет завтра. Я, друзья мои, прожил немало, много пережил, кое-что сделал, еще больше не сделал...

Херсий решил, что пора же и ему вставить слово. Не все быть только виночерпием.

— Ты украшение Эллады, Феокрит. Твои песни вечны.

— Не знаю, не знаю... Мои песни — мои дети... других у меня нет. Хотелось бы, чтобы прожили подольше,

но кто может сказать... И не такие песни забывались. Сейчас я думаю не о них, а о самом себе. В Александрии мою жизнь некоторые считают спокойной, счастливой, достойной зависти...

Юноша опять вмешался.

— Славолюбивые, должно быть, завидуют твоей славе...

— Прибавь — больные желудком — моему аппетиту, лысые — тому, что я еще не оплешивел, мужья сварливых жен — тому, что я холост. У каждого свои причины для зависти. Я, друзья мои, люблю жизнь, люблю, может быть, больше многих других людей... Она ведь прекрасна во всем — и в радости и в горе. Без теней и свет наскутит... Только не думайте, что мне самому жизнь легко далась. Всего в ней бывало — и хорошего, и плохого, и стыдного, и страшного. Такое бывало, что пересказывать снова я никак не согласен. Словом, пусть наша хозяйка на Феокрита не обижается. Кое-что никому не расскажу — и ей тоже.

Поэт умолк. Ему стало грустно. Но не хотелось огорчать Миртилла и Херсия. Улыбнулся, поднимая чашу.

— Довольно о печальном! Выпьем, друзья, в память Сапфо! Ни одна женщина не писала таких стихов. Вряд ли когда-нибудь и напишет. И, должно быть, мало кто умел так любить. Послушайте только:

...Лишь тебя увижу, уж я не в силах  
Вымолвить слова.

Но немеет тотчас язык, под кожей  
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,  
Ничего не видят глаза, в ушах же —

Звон непрерывный.

Потом жарким я обливаюсь, дрожью  
Члены все охвачены, зеленее  
Становлюсь травы и вот-вот как будто  
С жизнью прощусь я\*.

Миртилла, в упор смотревшая на Феокрита, пока он читал, восторженно захлопала в ладоши.

— Вот это чудесно... Я не сумею высказать, но чувствую... На самом деле так... Они прямо обжигают, эти стихи... Прочти еще что-нибудь, Феокрит!

---

\* Перевод В. В. Вересаева.

— Хорошо, но мы так и не выпили в память Сапфо.  
— Да, ты прав... Ей бы следовало совершить возлияние, как бессмертным.

Миртилла выпила свою чашу залпом. Вино, разбавленное ключевой водой, пьянило медленно и радостно. Огорчения забылись. Голову наполнил блаженный туман, и сквозь него звучал голос Феокрита:

Мимолетна младость, но будет мило  
Вспомнить, как иные придут заботы  
И даров иных мы познаем радость,  
Юные годы:  
Как мы жили, чем утешалось сердце,  
Что всегда под солнцем казалось краше,  
Как венки плели, в хороводах плели,  
Празднуя вышним...\*

Гетера слушала и чувствовала, что ей хочется теперь же обнять ласкового сильного человека с проседью, который читает эти стихи Сапфо. Такие они простые, понятные, точно мамины песни.

Феокрит смотрел на нее — взволнованно-внимательную, гибкую, стройную, в венке из плюща и мелких нарциссов на блестящих черных волосах. Снова оживала бодрящая радость. Нет ничего в мире прекраснее юной женщины. И сам он прекрасен, этот мир, несмотря ни на что.

Херсий пил чашу за чашей. Понемногу пьянел. Думал о том, что все хорошо сейчас. Прекрасна Миртилла, прекрасен этот сад, где никто их не видит, прекрасен вечер — тихий, душистый, с глубокими тенями, с гудением запоздалых шмелей. Все хорошо, но было бы еще лучше, не будь здесь Феокрита. Надо уговориться, когда же они встретятся с Миртилллой.

Выпил еще. Встать, пожалуй, нелегко будет, а голова пока ясная. Захотелось порассуждать.

— Миртилла, мы пируем, как на Олимпе, но ты еще перед нами в долгу.

— Как это?

— Ты обещала нам, во-первых, медовые пряники...

— И исполнила свое обещание.

— Да, пряники удивительные. У кого только ты научилась так их печь?

— Дома... у мамы.

---

\* Перевод Вячеслава Иванова.

— За здоровье твоей мамы!

— Вот за это спасибо, Херсий! — Миртилла ласково потрепала юношу по плечу.

— Спасибо ей, что родила такую дочку!

— И тебе спасибо, Феокрит! Я надеюсь, что на будущий год мама придет сюда. Только дочка ее неудачная, а то не понесло бы ее из Афин в какой-то Лампсак.

— Что ты, что ты... Очень знаменитый город.

— Чем это?

— Многим. Прежде всего тем, что здесь живет Миртилла.

Она умоляюще воздела руки к небу. Расхохоталась.

— Смотри, Феокрит! От гордости возьму да и лопну.

— Шутки — шутками, а все же ты перед нами в долгу. Было еще обещание...

— Какое же, Херсий? Не помню.

— Ты обещала нам кроме пряников рассказать о душе-форме.

— Сегодня не дождешься, и вообще не стоит... Ты вот умеешь печь философские речи, а я пряники. Каждому свое.

Феокрит внимательно посмотрел на Херсия. Кажется, обиделся философ. Говорить он умеет, но Миртиллу разве переговоришь? Бодается козочка... Нет, не обиделся. Наливает ей чашу, а половину воды мимо. Работо отпустили... Придется самому отводить его домой.

— Дорогие мои гости, а что если мы немного отдохнем? Эвной, принеси-ка подушки!

— Не надо, Миртилла, не надо... Погоди — я устрою. — Феокрит быстро встал, принес еще тростника, положил всем под головы по охапке. Херсий хотел ему помочь, но не смог подняться. Миртилла посмеивалась. Улеглась между поэтом и философом, с наслаждением вытянула босые ноги. Голова порядком кружилась. Сухой тростник щекотал шею. Небо было вечерне-голубое. На платане чернели шарики прошлогодних плодов. Где-то в соседнем саду ворковали дикие голуби.

Как все отлично вышло, и какой он умный, Феокрит. Надо его слушаться. В комнате и не рассмотрела бы как следует его глаза. Хороший, хороший... Миртилла заснула, повторяя про себя одно и то же слово.

Херсий пытался бороться со сном. Не удалось философствовать вслух, пробовал молча, хотя думать

было трудно после стольких чаш. Вот Сапфо... Где она теперь? Душа-форма умерла вместе с телом — это ясно. А чистый разум, божественная искра, что с ней?.. Возвратилась к всемирному разуму, слилась с ним или светится где-то одна?.. Нет, наверное, слилась... Все сольемся — Миртилла, Неофрон, Феокрит и я тоже... Все... Все... Но со сном не справишься. Он, как смерть, одолевает... одолевает...

## IX

Ранним утром Миртилла проснулась в своей постели. Силилась вспомнить, как же она в нее попала, и не могла. Как будто, и с гостями не простилась... Встала, подошла к окну. В саду никого не было. Только охапки пожелтевшего тростника еще валялись на измятой траве под платаном. Привычная к вину голова слегка кружилась, но не болела. На душе было весело. Хороший Феокрит, милый... Такой знаменитый человек и совсем, совсем не гордый...

Не терпелось узнать, как же было с гостями.

— Эвной!.. — Не идет, спит, наверное. Кликнула громче. Не отзывается. Только собачка затыкала в углу и бросилась к хозяйке, виляя коротким хвостом. Миртилла вышла в сени, отодвинула засов. Оранжевые солнечные пятна легли на глиняный пол. Хлынул свежий воздух, нежно пахнувший гиацинтами. В каморке Эвной окно было завешено. Служанка тихо похрапывала. Миртилла заколебалась. Будить было жалко, но любопытство пересилило.

— Эвной... Эвной... проснись! — Служанка продолжала храпеть. Миртилла взяла ее за плечо, потрясла. Эвной открыла глаза, испуганно вскочила. Взялась за хитон.

— Погоди одеваться — поспишь еще. Только расскажи, как же вчера... Гости когда ушли?

— Гости?.. Поздно ушли, уже луна светила. Еле дождалась, пока уйдут.

— Чего же ты меня не разбудила?

— А зачем, госпожа? Ты спала крепко, и гости спали. Я только не спала. Потом старый проснулся...

— Старый?.. — Миртилла нахмурилась, но в полутьме Эвной этого не заметила.

— Ну да, старый... Молодой был сильно пьяный. Я хотела сбежать за рабами, а старый не велел. Куда ты, говорит, ночью одна пойдешь? Сам доведу.

— А со мной как же было?

— Да этот, как его, Ве... Ве...

— Феокрит, Эвноя.

— Веокрит, сказал, что ты простудишься в саду. Хотел тебя разбудить, а ты только мекала...

— Когда ты научишься говорить как следует? Нельзя же так...

— Извини, госпожа, я по-деревенски...

— Ладно... Так что Феокрит?

— Он взял тебя на руки и отнес на кровать.

— Один?

— Конечно, один... Так нес, точно ты маленький снопик. Здоровенный старик!

— Эвноя, я запрещаю тебе называть его стариком, запомни!

Эвноя внимательно посмотрела на свою госпожу. Хотела ответить:— А что же... он молодой, что ли?— не посмела. Прогонит, чего доброго, а место хорошее. Чем только этот старик ей приглянулся?..

— Ну, чего замолчала? Рассказывай!

— Да что же рассказывать, госпожа? Положил тебя на постель, поцеловал...

— Поцеловал?..— Миртилла вздрогнула.

— Волосы тебе поцеловал и говорит: «Закрой за нами калитку да не забудь раздеть госпожу, зайчиха ты сонная...»

— Так и сказал?

— Так и сказал. Растолкал молодого, поднял и повел.

— Можешь теперь спать, Эвноя. Ты, наверное, устала после вчерашнего.

— Можно, госпожа?

— Можно, можно...

Миртилла притворила дверь. Не одеваясь, вышла в сад. Прохладный утренний воздух слегка пощипывал нагое тело, но она не думала о том, холодно ей или тепло. Задумчиво шла по дорожке смелой походкой бывшей огородницы. Маленькие ступни не боялись земли. Остановилась у грядки с маками. Они недавно начали цвести. Среди темно-зеленых поникших бутонов

пламенело только несколько раскрывшихся цветков. Миртилла вспомнила, как в Афинах подружки гадали. Оторвала лепесток, положила на левый локоть, выпуклостью вверх, слегка прихлопнула. Красный лоскуток лопнул, издав слабый, но ясный звук. Радостно улыбнулась. Любит... Бегом побежала домой.

Миртилла жить умела. Так говорили подружки, так и было. Случалось и ей попадать впросак — кто не попадает, но рассчитывать умела, хотя была очень молода.

Решила, что прежде всего надо почитать песни Феокрита. Иначе стыдно ей: говорят, знаменитый, очень знаменитый поэт, а она ни одной его строчки не знает. Точно в самом деле неграмотная. Думала вот, что Феокрит читает свое, а оказалось, хоть хорошее, но не его. У кого бы только достать... Расспросила знающих людей. Сказали, либо у Неофрона, либо у секретаря городского совета Пигрета. Пойти к Неофрону не решилась — старый, важный, сердитый. Раз сам пришел, а теперь она больше ему не нужна. Пожалуй, засмеет... Пришлось написать Пигрету, хотя и очень не хотелось. Секретарь городского совета, тридцатилетний гуляка, не раз уже напрашивался в гости к афижанке, но Миртилла его не приглашала. Не нравились рыжие, не эллинские волосы Пигрета, веснушчатое лицо, подслеповатые, вечно красные глаза. Руки у него даже зимой были потные, а изо рта часто пахло винным перегаром. Миртилла несколько дней колебалась — писать или не писать. Знала, что даром этот рыжий бабник стихов не покажет. В конце концов, послала с Эвной табличку. Служанка принесла ответ быстро: приходи, приходи. Хочешь переписать — переписывай...

Миртилла купила на рынке свиток пергамента. Полдня просидела в домике секретаря. Он был человек состоятельный. Пил немало. Немало ему стоили и женщины — гетеры, да и простые порне. Но рыжий гуляка не жалел денег и на свою маленькую библиотеку. Любил мифологию и стихи с ученостью. Побывав в Афинах, купил там гимны Каллимаха и поэму Ликофрона «Александра», о которой говорили, что никто ее толком не понимает, кроме самого сочинителя, да и тот, вероятно, понимает не все... Песен Феокрита у Пигрета оказалось всего три. Миртилла прочла гимн Кастору и Полидевку. Это было так скучно, что она с трудом закончила свиток.



Принялась за «Геракла-младенца». Тоже не понравилось. Хотела о любви, а о ней там не было ни слова. Взяла последний свиток — «Колдуньи». Подумала — если и здесь такое же, жаль, что пришла... Начала читать. Сердце забилось. Почувствовала, что щеки горят. Любовь, да какая любовь... И все понятно — точно о ней, Миртилле, написано. Прочла, перечла и еще раз перечла. Очинила камышовый стилос, принялась выводить буквы. Читала Миртиллу бойко, короткие послания на воощеных табличках тоже привыкла писать, но с пергаментом справлялась плохо. Строки получались неровные, буквы одна меньше, другая больше. Секретарь ей не мешал. Раза два взглянул на неумелые закорючки, улыбнулся и вышел. Терпеливо ждал обещанной ночи.

Миртилла о ней не думала. Вчитывалась в каждую строчку. Старалась не делать ошибок. Кончила писать, когда уже стало смеркаться. Молча вздохнула. Хотелось уйти домой, и нельзя было... В Лампсаке она ни разу еще не отдавалась тем, кто был ей противен. Идя вслед за Пигретом в его спальню, опять вспомнила афинского купца. Вздогнула от отвращения. Не один только купец... Вначале выбирать не приходилось. Зарились на нее все больше старики. Иные часами мучили. Дома не раз плакала тайком от матери. Когда развязала пояс, сидя на ложе Пигрета, снова хотелось заплакать. Пришлось все же улыбнуться и обнять рыжего развратника. Слезы потекли дома. Служанка ушла в свою комнату, а Миртилла уткнулась головой в подушку. Вспомнила ласкового Феокрита и плакала, плакала...

Начались безрадостные дни и мучащие ночи. Миртилле вдруг опротивели поклонники. С шестнадцати лет редко спала одна, а теперь при одной мысли о том, что придется еще с кем-то делить ложе, ее начинало лихорадить. Нет, нет, нет... Сказалась больной, велела никому не отворять калитку. Служанка жалостливо посмотрела на осунувшуюся, непривычно тихую госпожу. Переспросила:

— Совсем никого?

— Я же сказала...

— А если тот придет? — чуть не сказала: — Если придет старый?

— Дура ты, Эвноя, чурбан дубовый. — Миртилла покраснела, выругалась и вдруг снова заплакала. Как

бывало: в детстве, вытирала упрямые слезы подолом хитона.

Приходила ночь, и любовная тоска становилась мукой. Миртилла горела, металась, стонала, как больная, одержимая злым демоном. В мире теперь ничего не было, кроме Феокрита, ничего, кроме его ласково-сильных рук, загорелой кожи, звучно-спокойного голоса. Входил бесшумно, поднимал ее с постели, как сухой пшеничный сноп. Миртилла садилась на колени возлюбленного, прижималась к широкой взволнованно дышащей груди. Тоскливый жар сменялся блаженным. Но стоило пошевелиться, и Феокрит исчезал. Снова пустота и тишина.

И почти каждую ночь Эвное становилось страшно. Слышала тихие стоны. Старалась не спать. А вдруг госпожа что-нибудь сделает над собой?.. Входить к ней не смела. Только прикладывала ухо к двери, прислушивалась... Но больше всего ее пугал скрип засова в сенях. Эвняя вскакивала, бросалась к окну. Ночи были лунные, все видно. Вот госпожа идет между клумбами, нагая, зеленовато-серебряная, точно неживая. Исчезает в тени. Вернется ли?.. У Эвной колотилось сердце. Не знала, что делать.

А Миртилла садилась на скамейку под платаном и, как заклинание, читала стихи Феокрита о влюбленной Симайте, старавшейся вернуть Дельфиса с помощью колдовства:

Вновь привлеки, вертишейка, под кров мой милого друга!  
Травка аркадская эта сжигает коней быстролётных  
Страсти безумным огнем и пыл в кобылицах рождает.  
Если бы могла увидеть я, как в дом этот Дельфис ворвется  
В страстном безумье любви...

Губы повторяли имя возлюбленного Симайты. Мысли были о Феокрите.

Запах цветов, лунная тишина и прохлада ночи по-немногу успокаивали Миртиллу. Тело переставало гореть. Пробирала дрожь. Возвращалась домой, отогревалась под одеялом, засыпала. Утром по привычке бралась за зеркало. Полированное серебро отражало похудевшее лицо, синяки под ввалившимися красными глазами, потрескавшиеся губы. Не хотелось вставать, не хотелось есть, ничего не хотелось... Эвняя не смела рас-

спрашивать. Все боялась, что осерчает и прогонит. Да и без расспросов было ясно — мучится госпожа, сохнет, желтеет. По несколько раз в день Миртилла бралась за свой свиток. Перечитывала историю влюбленной Симайты. Знала уже наизусть многие места длинной песни. Все чудилось, что это о ней, Миртилле, написал Феокрыт:

Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена,  
Глянула,— дух занялся, будто в сердце мне что-то вонзилось,  
Краска сбежала с лица,— я о празднестве больше не помню;  
Даже не помню, когда я и как в свой дом воротилась.  
Знаю одно, что меня пожирала болезнь огневая.  
Десять ночей на постели и десять я дней пролежала.

Не так с ней было. Любовная горячка началась не при первой встрече, но Миртилла уже не вспоминала о том, как целовалась с Херсием в ночь Неофронова пира. Теперь она мучилась совсем, как Симайта. Мучилась, но не переставала надеяться. Когда-нибудь и она скажет о Феокрыте, как та о своем любовнике:

За руку взявшись его, я на ложе к себе привлекала.  
Тело прикинуло к телу, и щеки от счастья горели  
Жарче и жарче, и сладко друг с другом мы тихо  
шептались.

Многих я слов не хотела б терять, о Селена благая,  
Как до предела дошел он, и вместе мы страсть разделили.

Однажды Эвноя испугалась не ночью, а поутру. Ей показалось, что молодая госпожа сходит с ума. Достать вертишейку... Служанка подумала, что ослышалась, переспросила:

— Ну да, вертишейку. Знаешь такую птицу?

— Знаю... серенькая... на яйцах так крепко сидит, что можно взять рукой. Только головой крутит. Мне братишка не раз показывал — он птицелов. Но зачем тебе се, госпожа?

— Увидишь зачем. Нужно...

— Живую или можно и мертвую?

Миртилла задумалась. Сама не знала, нужно ей непременно живую вертишейку, или мертвую, или чучело этой птицы. Сказала наугад:

— Постарайся добыть живую. Только, Эвноя, здесь никому ни слова. Съездишь в свою деревню — тебе ведь недалеко. И еще одна вещь... Когда вернешься, непре-

менно достань у рабов какой-нибудь лоскуток одежды Феокрита. Поговорим потом. Я им заплачу, хорошо заплачу.

Служанка успокоилась. Вот оно что... В городе, значит, все по-своему. Вертишейка требуется...

Эвноя вернулась только через четыре дня. Сказала, что брат долго искал гнездо. Их мало в этом году. Привезла покрытую холстом клетку. Вертишейка забилась в угол. Сидела нахохлившись и не обращала внимания на людей. Перед ней насыпали ягод. Поставили черепок с водой. Пленница не ела и не пила. Миртилла решила, что она ждет смерти.

Надо было торопиться. С утра Эвноя отправилась раздобывать лоскуток. Миртилла тревожно ждала — принесет или не принесет?.. Без него и пытаться нечего... Пока что подогрела воск. Принялась лепить фигурку. Старалась, чтобы вышла похожей на Феокрита. Трудилась долго. Лепила, комкала, снова лепила. Получались уродцы, вроде тех глиняных кукол, что покупают детям за один обол. Поняла наконец, что Феокрита ей не вылепить. На груди последнего уродца вывела острием гвоздя имя поэта. Боги прочтут, если захотят помочь.

Посмотрела в кладовой, есть ли все нужное — вино, мед, ячмень, отруби, листья лавра. Предыдущие дни она почти не вставала с постели. Волосы сваялись, ногти отросли... И вымыться надо с ног до головы. Принялась приводить себя в порядок. Вынула из ларя тот малиновый нарядный хитон, который собиралась надеть ради Феокрита.

Уже близился вечер, а Эвнои все не было. Миртилла волновалась. Неужели не принесет?.. Чтобы быстрее шло время, опять принялась перечитывать свиток:

Видно, нашел себе радость иную, меня позабывши.  
Нынче его волшебством я свяжу, по Мойрой клянусь я:  
Коль оскорбит он опять — стучать ему в двери Анда!  
В этом вот ларчике здесь сохраняются страшные зелья.  
Мне ассириец-пришелец поведал, что делают с ними.

Злая она, эта Симайта... Нет, нет... никаких трав не будет. Хочу жить, но жить с Феокритом... Боги должны помочь.

За здоровье возлюбленных пьют неразведенное вино. Миртилла сходила в кладовую, налила полный кубок

крепкого кипрского и выпила залпом. Стало весело и тепло. Щеки горели, комнату завлакивал радостный туман. Удастся... удастся... должно удастся. Впервые за эти дни Миртилла радостно усмехнулась.

Эвноя вернулась в сумерках. Госпожа спала в кресле. В комнате пахло вином. У служанки екнуло сердце. Не отравилась ли она?.. Схватила свесившуюся руку Миртиллы. Та медленно открыла глаза. Вскочила.

— Принесла?

— Вот, госпожа...— Эвноя вынула из-за пазухи белый лоскуток.

— Настоящий? Не надули?

— При мне отрезали от хитона.

— Все, значит, в порядке. Спасибо, милая!— Миртилла обняла служанку и крепко поцеловала ее в губы.— Теперь приberi комнату, вымойся и надень хитон, который я тебе подарила.

Эвноя понимающе кивнула головой и принялась за работу.

Этой ночью мир снова был во власти волшебницы Селены. Богиня луны превратила деревья в шатры, отливавшие серебром, в черные колонны недостроенных храмов, в гигантских лягушек, поднявших головы к небу.

Миртилла и ее служанка стояли рядом под раскидистыми ветвями платана, словно в ярко освещенной пещере. Потрескивая, горели сухие кипарисовые поленья. На скамейке лежали мешочки со снадобьями, нужными для чародейства, стоял фиал для возлияний, и здесь же была клетка с вертишейкой. Миртилла знала, что по-настоящему надо привязать вертишейку к медному диску и вертеть его, но диска не нашлось, да и жаль было мучить еле живую птицу. Никогда еще в жизни Миртилла не пробовала колдовать. У гадалок бывала, но к чародейкам не ходила. Как они это делают, толком не знала, но в свитке волшебство Симайты было описано подробно. Выучила наизусть. Кое-что и сама прибавила. Симайта хотела вернуть утраченную любовь, а ей нужно, чтобы полюбил раньше ее не любивший.

Все было готово, но Миртилла молча стояла у костра. Было страшно и ей и Эвное, давно понявшей, что собирается делать госпожа. Говорят, где колдуют, туда

демоны слетаются, как осы на мед. Всякие демоны — и добрые и злые... Заухай сейчас филин, обе женщины побежали бы прочь. Но было тихо. Только потрескивали дрова да вертишейка изредка шевелилась в своей клетке.

Миртилла набрала полную горсть ячменя и бросила ее в костер. Пламя вспыхнуло ярче. Запахло паленым хлебом. Прерывающимся голосом прошептала все тот же стих:

Вновь привлеки, вертишейка, под кров мой милого друга!

Потом сожгла пригоршню лавровых листьев. Страх проходил. Голос молодой колдуньи стал увереннее и громче.

Очередь была за восковой куклой. Миртилла знала, что любовь гнездится в печени. Нежно поцеловала живот своего уродца. Повторяя заклинание, бросила куклу в огонь. Вслед за ней сожгла немного отрубей. Теперь нужно было совершить три возлияния. Служанка подала полный фиал вина. Чтобы привязать к себе Феокрита, чародейка заранее обвязала чашу красной шерстью. Подражать Симайте и молить о любви мрачную Гекату, богиню подземного мира, Миртилла не хотела. Первый раз вылила вино, обращаясь к той, на чью помощь больше всего надеялась, — к Афродите-пандемос, покровительнице гетер. Второе возлияние было в честь Аполлона, бога поэтов. Третье Миртилла посвятила Эроту, который может зажечь ничем не угасимое любовное пламя. Надеялась, что он поразит Феокрита стрелой прямо в печень.

Вино почти потушило небольшой костер. Только два три полена продолжали гореть, но еще оставалось самое главное. Миртилла взяла трудно добытый лоскуток хитона разорвала на узкие полоски и, нагнувшись, сунула их в огонь.

— Ну, Эвноя, конечно... туши!

Пока Эвноя собирала принадлежности колдовства, Миртилла вышла на залитую лунным светом полянку своего сада. Чувствовала, что выздоравливает. В душу лилась тихая радость. Помогут боги, помогут... Взглянула на луну. Диск уже был на ущербе, но сиял ярко и, как всегда, спокойно. Улыбнулась. Прошептала последние стихи свитка:

Светлой Селсне привет! И привет вам, светлые звезды,  
Вслед за небес колесницей плывете вы, спутники ночи!

И госпожа и служанка крепко проспали остаток этой памятной ночи. Миртилла проснулась бодрая, как и раньше. Только голова еще кружилась от слабости и исхудавшее лицо не успело порозоветь. Чародейку ждало огорчение. Колдовская птица не дожидла до утра. В клетке лежал окоченевший серенький трупик. Эвноя хотела отдать его кошке, но Миртилла не позволила. Сама вырыла под платаном ямку и похоронила вертешейку, осыпав ее последними цветами жасмина.

Под вечер раб Феокрита принес Миртилле табличку. Поэт писал, что на следующий день будет ждать ее у статуи Приапа возле театра. Придет, как только начнет закатываться солнце. Долго Миртилла не давала спать Эвное. Обняв ее, сидела на постели служанки взволнованная, радостная.

— Вот видишь... видишь... Ученые дураки уверяют, что богов либо нет, либо они о нас не заботятся. А кто мне помог... кто?

Она не знала, что Феокрит давно решил назначить ей свидание. Хотел встретиться на другой же день после пира трех. Пришлось подождать, потому что Неофрон сразу же обиделся на долгую отлучку гостя.

Феокрит не знал и никогда не узнал о том, как его привороживала Миртилла, подражая покинутой Симайте. Не узнал и о том, как она добыла его песни.

Многого не знают люди друг о друге. Не знают даже о близких, даже о любимых. Может быть, и лучше, что не знают всего...

## х

Неофрон был доволен и недоволен. Феокрит уезжать не собирался. При первой встрече сказал, что погостит в Лампсаке дней десять, но прошел целый месяц, а об отъезде и речи не было. Эпикурейцу все чаще и чаще мерещились свитки будущей биографии поэта. В какой-нибудь ее книге расскажут и о том, что Феокрит провел столько-то месяцев в Лампсаке, пользуясь гостеприимством своего друга Неофрона. Порой, однако, его одо-

левали сомнения. Биографию-то, конечно, составят, но когда?.. Снова и снова вспоминал о том, что комментаторы и грамматики пишут только о древних поэтах. Эпикуреец был бы рад и посмертно прослыть другом Феокрита, но, если за его биографию примутся лет через двести-триста, много ли там будет правды?.. Могут и о путешествии в Лампсак позабыть и о нем, Неофроне, не написать ни строчки. Жаль, что не в обычае у поэтов самим описывать свою жизнь.

Знаменитому гостю понравилась гетера Миртилла. Когда Феокрит отправился к ней пировать и вернулся только ночью, Неофрон обиделся. Столько времени не виделись, приехал на две недели, и вот... Потом обрадовался. Решил, что раз появился такой магнит, значит, Феокрит надолго останется в Лампсаке. Не обижался больше и на отлучки поэта. Близилось время жатвы, когда земледельцу дорог каждый день, а порой и каждый час. Дружба-дружкой, но пшеницу надо убрать вовремя — иначе перестоит и начнет осыпаться на здешней жаре.

Как ни рад был Неофрон приезду знаменитого друга, но порой он побаивался, что в страдную пору гость будет ему в тягость. Когда увидел, что Миртилла становится его постоянной подругой, обрадовался. Пусть он пока побольше возится с этой загорелой девчонкой, а кончится жатва, хозяин снова вступит в свои права. Феокрит приехал к нему... Землевладелец собирался даже купить Миртилле кольцо с хорошей жемчужиной, но раздумал. Послал три воза сухих дров. Хватит с нее и этого...

Вскоре, однако, пожалел, что послал и дрова. Не то получилось, на что он надеялся. Начал ревновать друга к Миртилле. Завладела она им. Не мог понять, в чем тут дело. Слов нет — красива, очень красива. Одни глаза чего стоят, и сложена удивительно. Если увидит скульптор, быть ей богиней. Во время пира в честь Феокрита эпикуреец, хотя и редко обращал внимание на женщин, сам любовался ее прекрасным телом, едва прикрытым туманом косской ткани. Престарелый стоик Филоксен и тот пошутил после многих чаш:

— Как будто я все-таки кое-что понимаю, а вот никак не могу понять, одета эта гетера или раздета?..

В ту ночь немало было говорено о Миртилле. И приветлива она и бойка. Умеет беседовать, умеет, когда нуж-



но; и помолчать. Молода, но в своем деле опытна. К деньгам не очень жадна. Все это так — отчего же не провести с ней месяц-другой. Феокрит не стар, жены у него нет. Понятно, очень понятно, если бы так... Неофрон, однако, вскоре почувствовал, что это не обыкновенная связь с гетерой. Девчонка Миртилла, кажется, стала осью жизни его гостя. О чем ни примутся беседовать, кончит тем, что заговорит о ней. Сам, наверно, не замечает. На вид помолодел. Каждый день зовет цирюльника. Пишет стихи; а прочесть не хочет — говорит, не окончены. Наверное, о ней или для нее. Уверяет, что такой еще за всю жизнь не встречал. Она, как лучезарная весна после зимних морозов, как восходящая заря, как цветниковая роза, окропленная утренней росой...

Неофрон в делах любви был слепорожденным, хотя порой охотно рассуждал о них. Пока был помоложе, все собирался жениться, потому что все женятся. Так и не собрался. Знался с гетерами и с эфебами, как и другие. Платил им исправно — не обманывал. С годами надоели и те и другие. Лишь изредка делил ложе с женщинами. Умножал свои доходы и занимался философией. Знал, что кроме всем доступной Афродиты-пандемос, любви постельной, есть и другая любовь. Знать — знал, но Киприда небесная никогда к нему не приближалась.

Неофрон видел Феокрита изо дня в день, старался разгадать, что творится с другом, и ничего не мог понять. Опоила она его, что-ли, любовным зельем. Бывает так... Или открыла ему какую-то свою тайну — поэты ведь любят необычное. Кто знает, может быть, она жрица Артемиды, нарушившая обет девственности, или просто жена, сбежавшая от старого мужа, боясь, что убьет за неверность.

Неофрон поручил надежным людям разузнать, как и что. Никакой тайны не оказалось. Просто-напросто молодой афинянке не повезло на родине. Но эпикурейцу очень не хотелось, чтобы она попала в биографию Феокрита. Чего доброго, напишут потом, что поэт приехал в Лампсак для того только, чтобы встретиться с гетерой Миртилкой. Неправда это, но через два-три столетия никто проверить не сможет, а любовные истории читатели любят превыше всего. Иной из всех творений Платона только и знает, что эпиграмму, которую мудрец будто бы написал гетере Археанессе. Другой об Аристотеле

понятия не имеет, а помнит твердо, что у него был сын от Герпеллиды. Везет же этим девушкам непутевым..

Наступило лето. Появилось у лампсакского богача много новых хлопот и забот. Урожай предвиделся богатый, а рабочих не хватало. Свободных найти было трудно, особенно мужчин. Нанимались неохотно, хотели дорого, да и возни много со свободнорожденными. Чуть что не по нем — уйдет... Следовало прикупить с десятков рабов. Неофрон, как и другие хозяева, для земледельческих работ предпочитал азиатов, ближних и дальних — фригийцев, каппадокийцев, галатов, сирийцев, армян. Народ все работающий, смиренный, привыкший повиноваться своим царям, царькам и всяким начальникам. Труднее было с фракийцами и с северными варварами — скифами, сарматами, бастарнами. Эти сильные выносливые люди крепко любили свободу и, случалось, лишали себя жизни, не желая работать на господ. Домашних рабов, эллинов, Неофрон, как и его отец, выращивал дома. Послушным позволял плодиться. Пришлых не покупал — хороши-то эллины хороши, но, того и гляди, убегут. На этот раз купил бы кого угодно, но в продаже рабов нигде не было — ни в самом Лампсаке, ни в соседних прибрежных городках — Дардане, Пари, Приапе. Посылал за ними не раз и на фракийскую сторону — в Сест, Каллиполь, Кардию, но и там ничего не вышло. Не в Херсонес же Таврический ехать?..

Неофрон был мастер покупать рабов и рабынь. Знал все проделки торговцев, умевших обманывать покупателей не хуже, чем лошадиные барышники. Нельзя его было провести ни нарядными одеждами, ни здоровым на вид загаром, ни блеском умащенного тела. Требовал, чтобы раздевались донага. Заставлял ходить, бегать, прыгать, поднимать тяжести. Пробовал, не охрой ли натерта коричневая кожа. Продавцы его побаивались, но платил Неофрон исправно. Если бы мог уехать сам на неделю-другую, раздобыл бы, вероятно, рабов, но уехать было нельзя. И Феокрит гостит и кроме рабов много других хлопот по имению.

На яблони напали мохнатые черви. Объедали листья, вили паутинные гнезда, десятками ползали по стволам. Садовницы собирали их от зари до зари, но червей не убывало — никогда их столько не было в садах Лампса-

ка. Пришлось нанять чуть ли не сотню мальчишек и девчонок. Те кое-как справились. Обошлось это недорого — детям Неофрон платил по оболу раз в три дня, но хлопот с ними было много.

Только истребили червей, начали вдруг падать овцы. Наелись какой-то ядовитой травы. Подохло их за три дня десятка два — не так уже и много для большой отары, но все матки, одна лучше другой. Погиб и красавец племенной баран, всего год тому назад купленный за большешие деньги.

Что ни день, то новые заботы и неприятности, а тут еще Миртилла... Феокрит у нее в плену. Живет, правда, по-прежнему у него, Неофрона, умно беседует, старастся, видно, не обидеть хозяина, но душой он там, в ее домишке. Повадился повторять одни и те же стихи:

Гибнут деревья от стужи, от засухи гибнут потоки,  
Птицам погибель — силки, сеть и капканы — зверям.  
Гибель мужчине — от нежной красавицы...

Иногда Неофрон думал теперь о знаменитом друге с немалым раздражением. Чем это только все кончится?.. Пожалуй, уедет и ее с собой возьмет. Угораздило же меня пригласить тогда эту девчонку на пир. Подумаешь, Архиппа какая выискалась, да и Феокрит тоже хорош... И Софокл, правда, потерял голову, но не в такие же лета. Похоронил двух любимых жен, дожил до старости, а в конце-концов влюбился в эту самую Архиппу и все имущество ей оставил. Ну, мало ли что со старым человеком не бывает, а Феокрит ведь совсем еще не стар. О чем только такой человек может часами рассуждать с ничему не учившейся девчонкой?..

Часто думал Неофрон о госте-поэте. Вспоминал примеры. Не один Софокл. Перикл, Сократ... И равный богам Эпикур. Он, говорят, не только беседовал со своей ученицей, гетерой Леонтион. Любил ее. Но умница Леонтион философский трактат написала, да еще каким языком, а Миртилла... Развязаться бы с ней Феокриту да жениться на богатой вдове, лет так сорока. За такого мужчину любая пойдет. Можно найти в Лампсаке, если как следует поискать, а если не здесь, то в одном из соседних городов. Тогда и в Египет, на царские хлеба, нечего возвращаться. Останется здесь, а свадьбу отпразд-

новали бы у него, Неофрона. Опять честолюбивый эпикуреец подумал о свитках будущей биографии. Хотят, не хотят, а когда-то напишут, что великий поэт Феокрит женился по совету своего друга Неофрона из Лампсака, который... Пора ему жениться, пора...

Неофрон все же богатой вдовы для друга не подыскивал. Чувствовал, что ничего из этого не выйдет,— пожалуй, еще и обидится. У Феокрита все по-прежнему. О гибели мужчины от нежных красавиц, правда, перестал твердить, но теперь новая песня. Повторяет чуть не каждый день:

Всюду весна, и повсюду стада, и повсюду налилсь  
Сладким сосцы молоком, юных питая телят.  
Девушка мимо проходит красотка; когда же исчезнет,  
Чахнут, тоскуя, быки — с ними зачахну и я.

Неофрон терпеливо слушает влюбленного друга, иногда и поддакивает, но мысли у него ревнивые и злые. Убрать бы эту Миртиллу из Лампсака... Жаль, что не рабыня — купил бы тайком, не жалея денег, да и отправил куда-нибудь подальше. Пусть пасет коров, но только одна...

Много огорчений у помещика-философа. Жатва, для которой не хватает рабов, мохнатые черви, овечий падеж, а больше всего гетера Миртилла. Из-за нее не удастся, пожалуй, пристроить свое имя к будущему жизнеописанию поэта Феокрита.

## XI

На берегах Геллеспонта и Пропонтиды нет города больше Лампсака, но и в нем, как и в маленьких,— что ни случись, все тотчас же становится известным. Рабы переносят новости из дома в дом. Соседки выбалтывают их, сидя по вечерам у ворот. Рыночные торговки умеют и товар свой продать, и набраниться вдоволь, и рассказать множество былей и небылиц кому только слушать не лень. Варвары, пока не научатся по-гречески, больше молчат, а эллины говорят, говорят, всюду говорят. В жаркие месяцы позднего лета, когда хлеб уже давно убран, по межам цветет колючий синеголовник, а на платанах и ясенях неумолчно звенят цикады, вода го-

родских фонтанов бежит струйками не толще пальца годовалого ребенка. Женщины выстраивают в ряд свои тонкогорлые кувшины и часами ждут, пока подойдет очередь. Есть время наговориться.

На краю города среди масличной рощи белеет на холме храм Аполлона, небольшой, но на редкость красивый. Жители Лампсака к нему присмотрелись, красоты не замечают — много храмов в городе, но приезжие и проезжающие, даже много видевшие иностранцы, любуются и удивляются. К храму с двух сторон ведут широкие мраморные лестницы. На террасах, увитых виноградом, много места и довольно тени. Здесь женщины любят толпиться, когда окончены жертвоприношения и молитвы. Глазеют на наряды богатых горожанок и гетер. Разыскивают знакомых, приехавших из деревень помолиться солнечному богу, а заодно кое-что купить и продать. Разговоров там столько, что самая свежая новость к обеду уже совсем не новость.

Мужчины в храмы ходят мало. Ученые, если и верят, то по-мудреному, а эллинским богам не молятся; неученым же просто лень подниматься загодя. Пусть жена помолится за двоих. Небожители не прогневаются... Зато в харчевнях в любой праздник мужчин полным полно, да и в будни немало. Пьют у Арктина на рынке, и у хромого Демада, и у Стесимброта, прозванного отцом матросов, и у многих других. К Стесимброту степенные граждане ходить избегают — очень уж у него шумно, да и драки бывают нередко, потому что там собираются разгульные моряки и рабы, особенно варвары. Всем известно, что и те и другие пьют вино неразведенным. Зато новости из приморских городов раньше всего узнаются в портовой харчевне. Избил ли в Дардане старый моряк жена любовника, или в Парии обокрали македонского военачальника, или в Каллиполе родилась тройня — на второй-третий день об этом заговорят у Стесимброта, а потом уже привозная новость поползет по городу из дома в дом. Свои, лампсакские, новости интереснее — не ползут, а разлетаются, словно острокрылые стрижи.

О том, что Феокрит вместе с Херсием побывал в гостях у гетеры Миртиллы, Лампсак узнал немедленно. Соседки видели, как поэт и молодой философ вошли в калитку, да и служанка разболтала своим новым приятельникам. Промолчала только о том, что Миртилла не успела

одеться и расплакалась от досады. Свою юную госпожу она полюбила и не хотела, чтобы люди над ней смеялись.

По правде говоря, о пире трех и о начавшемся увлечении Феокрита сплетничали далеко не все жители Лампсака. Матросам, рабам, беднякам-ремесленникам, рабочему люду до этих господских новостей не было никакого дела. Вот если бы хлеб подешевел, или вздорожало вино, или приехал в город не поэт, а бродячие актеры, которые дают на площадях веселые и бесстыдные представления, тогда бы заговорили и они.

Приняли новости близко к сердцу те, которые сами читали или слышали песни Феокрита. Многие знали их раньше, да и Неофрон охотно давал свои свитки желающим списать. Толковали о любовных делах поэта врачи, жрецы, философы, сборщики налогов, архивариусы, кой-чему учившиеся купцы, писцы городского совета, и даже едва грамотные цирюльники, и даже башмачник Гедил, грамоты вовсе не знавший, но очень любивший слушать стихи. Жены читателей и почитателей Феокрита, грамотные и неграмотные, говорили о нем и о Миртилле еще больше, чем их мужья. Больше же всего судачили о них лампсакские гетеры — и гречанки, и фракиянки, и иноземки, приехавшие из разных стран. Знали отлично, что знаменитого человека им у Миртиллы не отбить, но зависть не давала покоя. С таким поживешь, можно потом брать дорого. Каждому захочется поспать с подружкой человека, который с царями знается... Денег у него говорят, немного, но зато слава большая.

Гетеры, когда могли, подсматривали из-за заборов, подслушивали, зазывали к себе Эвнюю. Угостив ее вином и сладями, принимались расспрашивать, что же там делается. Служанка клялась Зевсом, что Феокрит, хотя часто ходит к Миртилле, но ни одной ночи еще с ней не провел. Но только, что правда то правда,— госпожа совсем другая стала. Всем поклонникам отказ... Тот, молодой, кудрявый, чего-чего только не делал: перелезал через ограду в сад, перед закрытой дверью жалобные песни пел, просил, плакал, даже дверной косяк целовал... Не помогло. Госпожа ему не поддалась. Обиделся и теперь совсем больше не ходит. А другие письма шлют, присылают корзинки вишен, охапки роз, по ночам вешают на калитку венки. Все впустую... Веле-

да никого не пускать, подарков не принимает, на письма отвечать не хочет. Венки так и сохнут на калитке. Сама веселая — в саду поет, в комнате поет, и все про любовь. Цветные одежды вовсе перестала носить. И дома и на улице в белом — говорит, Феокриту так больше нравится. Он приходит по утрам, когда еще не очень жарко. Затворяются в комнате, а потом идут гулять. По целым дням пропадают — где, госпожа не говорит, только смеется, когда спросишь. Должно быть, далеко. Загорела так, что даже спина теперь лупится. На пятках мозоли — уже два раза распаривала и срезала.

Гетеры удивлялись:

— Чудно... Неужели так целый день и шляются не свши?

— Что ты, что ты... Видела у Феокрита желтую сумку? Там и еда, и вино, и дощечки письменные.

— Чудеса... куда же это он ее водит?.. Так, говоришь, веселая, поет. Счастлива, значит?

— Еще бы... Вчера вернулась поздно, уже в темноте. Еле ноги передвигает, полынью от нее пахнет. Я и спрашиваю: устала, госпожа? А она меня обняла, целует, тормошит и приговаривает: — Эвняя, глупенькая, мне хорошо, хорошо, хорошо. — Она добрая, моя госпожа. Иногда накричит, обругает, а потом опять точно подруга. Ни разу не ударила, ни разу...

Отпустив подвыпившую Эвною, гетеры еще долго тараторили между собой. Выходит, влюблена Миртилла. Ну и дура, ну и дура... Разве же можно так? Себя надо любить и свое добро, а с любовника содрать все, что можно — на то он и любовник. Да и совсем не дело гетере долго жить с одним — что она, законная жена, что ли?.. Еще если бы в молодого втюрилась, а то этому Феокриту без малого шестьдесят...

Иные Эвное не верили. Врет она... Миртилла, хоть и молодая, а свои дела умеет ловко устраивать. Никогда она не сделает такой глупости. Будто не понимает, что этот ее старик здесь до смерти жить не будет. Уедет к своему царю — и все.

Были и такие, которые заранее злорадствовали. Останется афинянка на бобах. Им же, остальным, лучше. Поклонники не станут ждать, пока Феокрит уедет. Побродят, побродят около калитки, да и к нам... Сомневались все же. Хотя и ругали Миртиллу душой, но про

себя каждая считала ее толковой и оборотистой. Что-то тут не так.

Весь Лампсак не раз уже видел, как афишанка шла куда-то с Феоκριтом в белом хитоне и таком же гиматии, по обычаю обвивавшем затылок. Даже лента в волосах была белая. Нарумянена едва-едва, и глаза не подведены. Совсем стала не похожей на гетеру.

Кой-кому из граждан города это не понравилось. Один старичок, член городского совета, почитавший законы и не любивший гетер, подумывал даже о том, нельзя ли запретить Миртилле ходить в таком виде по городу. Разыскал древний закон Солона, предписывавший гетерам носить пестрое платье, украшенное цветами. Для тех далеких времен закон был не очень обидным — иная красивая женщина в таком платье становилась еще красивее, — но касался он, конечно, только Афин, да и там был давно отменен. В городском архиве Лампсака ничего подходящего на этот счет не оказалось.

К тому, что приезжий поэт ходит гулять вдвоем с гетерой Миртиллой, в городе начали привыкать. Правда, Феокри́т — гость Неофрона, но не может же такой рачительный хозяин бросить созревающие поля и заняться прогулками.

Удивились все-таки, когда башмачник Гедил, живший на краю города, рассказал то, чему он стал свидетелем. Ранним утром, еще до зари, он вышел за нуждой во двор и увидел, что по улице идут пятеро — впереди Феокри́т и Миртилла, оба в одеждах путников, за ними трое рабов, тоже одетых по-дорожному. Гедил был человек любопытный. Решил проследить, куда же это они собрались в такую рань. Спрятался за забором. Смотрел сквозь щель. Путники вышли в поле и свернули на дорогу, по которой зимой ездят дровосеки, а с весны пастухи гоняют стада в горы к югу от Лампсака. Куда же они?.. Когда рассказал, никто не мог сообразить, куда и зачем. Городов в той стороне нет. Несколько маленьких деревушек, а дальше на сотни стадий лесные трущобы. Кроме немногих пастухов никто туда не ходит, зато зверья полно. Говорят, в самых глухих местах есть еще и львы.

Ни в тот день, ни на следующий Феокри́т, его подруга и рабы не вернулись. Прошло и три дня и четыре — их



все не было. Уход поэта становился событием. О нем заговорили и по домам и в харчевнях — у Арктина, у хромого Демада, даже у Стесимброта — отца матросов. Там тоже прошел слух о том, что какой-то очень важный человек ушел в горы, да и пропал. Что это был за человек, никто толком не знал, пока не зашли в портовую харчевню двое рабов Неофрона. Сказали, что хозяин в большой тревоге. Сам не знает, куда девался приезжий. Обещал вернуться дня через два. Теперь уже пятый на исходе, а его все нет... Конных гоняют с утра до вечера, — и ничего.

Посетителей харчевни Стесимброта исчезновение поэта, впрочем, ничуть не огорчило. Если бы глубокомысленный Эврипид вернулся из Аида и заглянул в низкое зальце, еле освещенное дымящими плошками, он, пожалуй, вспомнил бы собственные строки:

Кто из рабов господ породу любит, тот  
Войной великой идет против себе  
Подобных.

У Стесимброта господ ругали дружно. Мало ли что с ними случается, когда взбредет в голову дурь. Разбойников в здешних горах нет, потому что грабить там некого, но могли путники заболеть, заблудиться, а то, чего доброго, растерзали их львы. И поделом, если так, — незачем было туда соваться. Вот рабов жалко, да уже такое рабье дело — иди, куда велят...

Почитатели Феокрита волновались. Пробовали выпытать у служанки Миртиллы, в чем же дело, но Эвноя либо сама ничего не знала, либо ей было приказано молчать. Всем повторяла одно и то же — скоро вернется. Велено поливать цветы утром и вечером, никого не пускать ни в дом, ни в сад. Она и не пускала.

Биограф Идомений, почтенный старец, уже много лет трудившийся над «Историей афинских демагогов», тоже не проник дальше калитки гетеры. К стихам он был равнодушен, но очень заботился о славе родного города. Знал его прошлое наизусть. Большим городом Лампсак стал недавно — после Александра Македонского, но знаменитых и известных людей в нем и раньше было немало. Здесь жил когда-то Фемистокл, после того как передался персам. В награду за измену Ксеркс по-

дарил ему город. В то время Лампсак славился отличным вином; потом оно стало почему-то хуже. Сюда переселился философ Анаксагор, изгнанный из Афин за безбожие. Не будь его дружбы с Периклом, пришлось бы ему, вероятно, выпить яд. В Лампсаке Анаксагор и умер. Отсюда родом перипатетик Стратон, второй схолярх аристотелевского Ликия. Здесь же родился трудолюбивый Анаксимен, составивший «Риторику» и описавший дела эллинов и варваров от начала мира до битвы при Мантинее. За много лет до них здешний логограф Харон сочинил «Летопись Лампсака». Были и другие лампсакцы, имена которых, как думал Идоменей, не забудутся, но что они все по сравнению с Эпикуром... Идоменей, его последователь, свято чтит память учителя и всегда склонял голову, проходя мимо маленького дома, в котором шестьдесят лет тому назад жил философ.

Себя старик не причислял к знаменитым лампсакцам, но втайне надеялся, что после смерти и его не забудут.

Как и Неофрон, эпикуреец Идоменей вопреки заветам учителя от честолюбия не освободился.

Песен Феокрита историк афинских демагогов раньше не читал. Начал думать о поэте только тогда, когда он приехал в Лампсак. Пожалел, что Феокрит не ученый и не философ — больше было бы чести для города. В славу новых поэтов Идоменей верил плохо, но с кем ни заговаривал о госте Неофрона, все повторяли одно и то же — да, он знаменитый поэт. Вся ойкумена знает Феокрита. Приходилось верить и ценить — таких людей уже давно не бывало в Лампсаке. Узнав об исчезновении поэта, Идоменей огорчился не меньше, чем его почитатели. Что напишут потом о Лампсаке, если здесь в самом деле оборвутся дни Феокрита?.. Хотелось ему навестить Неофрона — тоже ведь эпикуреец, но, как и другие, не решился. Знал, что у помещика сейчас самое горячее время. С рассвета и до темноты он на полях, туда ему и еду носят, а вернется домой — в баню и спать.

К тому же, если Феокрит погиб или погибнет, для Неофрона вечный позор. Как он мог отпустить гостя куда-то в горы всего с тремя рабами? Нет, нельзя идти к Неофрону...

Скуповатый старик расщедрился. Купил совсем не плохую сетку для волос. В лавке сказал, что надо сделать подарок племяннице. Самолично отнес ее Эвное, но ничего от нее не узнал.

## XII

Феокрит и Миртилла медленно поднимались по горной тропинке среди густых зарослей диких маслин, земляничных деревьев и колючих кустов каменного дуба.

Рабов с ними не было. Как только дошли до подножья первых гор, Феокрит приказал всем троице, не заходя в Лампсак, идти в деревню на берегу Геллеспонта у устья речки Родиуса и там ждать его возвращения. Отсчитал рабам достаточно оболов на пропитание. Обещал еще и наградить потом, если будут вести себя как следует, и их не опознают. На всякий случай дал и табличку — письмо, чтобы не приняли за беглых. Наказал не пьянствовать, не болтать с кем попало, не заводить знакомств с матросами. Сказал еще, чтобы побольше купались и лежали на солнце — надо прибавить загара за эти дни. Для чего надо, не объяснил, но рабы обещали исполнить все в точности. Платон, говорят, провинившихся рабов сам никогда не бил — приказывал бить другим. Феокрит и другим не приказывал, но слуги боялись, как бы, разгневавшись, он их не продал. Тогда прощай спокойная жизнь без палок, без розог, без зуботычин... Очень им хотелось дознаться, куда же это хозяин пойдет с гетерой, но знали, что спрашивать нельзя.

Поэт и его подруга шли в одних хитонах. Некого было стыдиться в этом пустынном горном лесу. На побережье уже началось знойное лето. Здесь, в горах, была поздняя весна, хотя солнце палило так же жарко, как и на равнине. Но зелень высоких дубов не успела еще потемнеть, кроны их пропускали солнечные лучи, а густая невысокая трава была усеяна белыми брызгами анемонов. Где осталось побольше влаги, цвели толпы низкорослых лиловых ирисов, гиацинты и нежно-розовые крапчатые лилии. Пели дрозды. По временам с деревьев срывались парочки пестрых удонов и с испуганными криками скрывались в лесу.

Феокрит шел ровным, неторопливым шагом человека, привычного к горам. На спине у него топорщился нема-

лой величины кожаный мешок с широкими лямками. Миртилла тоже старалась шагать так, как ее не раз уже учил Феокрыт. Знала, что торопиться нельзя. Когда впервые отправилась с ним побродить по горам, храбрилась, пробовала бегом взбежать на крутые скаты, но дыхания не хватало, перед глазамиплыли зеленые круги, начинало мутить, и неопытная горожанка опускалась на землю. Еще раз сказала себе, что Феокрыта надо слушаться. Все он умеет лучше нее.

Поклажи Миртилла не несла — только всегдашняя сумка поэта с восковыми табличками и разными мелочами висела у нее через плечо. Будь Феокрыт один, шел бы много быстрее, но он знал, что подружке это не по силам.

Как только замечал, что Миртилла начинает уставать, ласково брал ее за руки, усаживал на траву. Развязав сумку, вынимал полотенце, обтирал ее вспотевшее лицо, шею, плечи.

Когда взошли наконец на первый гребень, его взяло сомнение. Выдержит ли?

— Милая, измучилась ты... Вернемся-ка лучше. Отдохнем, да и домой...

Миртилла вздрогнула. Только начали и бросить... Прижалась к его плечу:

— Нет, нет. Пойдем дальше. Я привыкну, Феокрыт... Так чудно здесь...

— Смотри, родная моя. Не разболелась бы ты...

— Ну что ты! Я же здоровая. Никогда не болсю. Только к горам непривычна.

Старалась дышать ровно, хотя сердце еще прыгало. Гладила волосатую руку, обнимавшую ее стан.

— Посидим немного и пойдем. Смотри, Феокрыт, какая красота...

Вдали блестел серебристо-голубой Геллеспонт. Лампсак казался темно-зеленым озерком с чуть видными отблесками серых домов. На том берегу крохотный Каллиполь тонул в жемчужном мареве. Мраморные острова Пропонтиды — Офиуса, Галона, Прокопнес, неясно белели среди лазоревой глади. Миртилла задумчиво покусывала дубовый листик.

— Без тебя прожила бы весь век и не узнала, как хорошо в горах. Вторая весна...

— Это еще что, Миртилла, — совсем не высокие горы,

а в высоких за один день можно увидеть и лето, и весну от конца до начала, и самую настоящую зиму.

— Ты бывал в таких?

— Раз только. И знаешь, где — в Ливии\*...

— Да что ты?.. Там же, говорят, такая жарыща, что все люди черные.

— Всякие есть. В стране эфиопов как будто тоже есть горы со снегом и льдом, но никто из эллинов там не был.

— Как же ты не замерз, Феокрит? Летом и снег...

— Оделся наверху, как варвар, — вот и все.

— Как варвар?

— Ну да... Представь себе — лохматая баранья шапка, кожух, штаны...

— Штаны!.. — Миртилла расхохоталась. — Феокрит, ты носил штаны?

— Уверяю тебя. Иначе нельзя — обморозишься.

Она продолжала хохотать.

— Ой, не могу... Подумать только... эллин в штанах...

— А знаешь, Миртилла, восточные варвары удивляются, как это мы без них обходимся. У них и женщины...

— На то они и варвары. Ни за что бы не надела. Срам такой.

— Даже в снегах?

— Туда бы не полезла.

— А со мной?

Она перестала смеяться.

— С тобой куда угодно — в снег, в воду, в самый Аид... Я же люблю тебя, Феокрит. — Миртилла порывисто обняла поэта.

Пошли дальше. Тропинка вилась вдоль гребня, поросшего густым кустарником. Вечнозеленые кожистолистые заросли остались внизу. Здесь за хитоны цеплялся то цветущий терновник, то молодые побеги ежевики. Бутоны шиповника только начали распускаться. В тенистых лощинах доцветали дикие яблони, и трава под ними была усыпана порыжевшими лепестками.

Стадий тут никто не мерил, но путники прошли их уже немало — все навстречу солнцу, на юг. Миртилла шагала бодро, хотя после многочасового подъема ноги были точно не свои. Вспомнила Афины. В горы там ни-

---

\* Древнегреческое название Северной Африки.

когда не ходила, зато в тринадцать-четырнадцать лет, когда убирали огороды, вместе с матерью целые дни таскала на спине тяжелые корзины. Так же деревенели ноги к вечеру, и поесть хотелось вдоволь, и поспать подольше. Представила себе, как мать жарит рыбу, поливая ее шинящим оливковым маслом. Сразу почувствовала, что голодна, да и поспать было бы неплохо. Встала за-долго до света — боялась проспять. Осторожно взглянула, где солнце. Оно пылало высоко. Тени деревьев были совсем короткими. Полдень скоро. Сделав умоляющее лицо, спросила:

— Феокрит, а скоро мы будем есть?

— Проголодалась, моя Миртилла?

Радостно екнуло сердце. Опять он сказал «моя». Провела щекой по его плечу, заглянула в глаза. Ответила по совести:

— Еще как проголодалась...

Поэт рассмеялся. Погладил волнистые волосы подру-ги, в которых запутались сухие травинки.

— Какое удивительное совпадение, Миртилла,— я то-же голоден и даже очень. Вот дойдем до той полянки и будем обедать.

— А потом поспим?

— Поспим, поспим...

Поляна, которую издали наметил Феокрит, оказа-лась прекрасной. С трех сторон ее окружали высокие ду-бы и вязы. Должно быть, скот никогда не пригоняли сюда. Низкая еще, по-весеннему свежая трава не была примята. Путники расположились в тени, на берегу тихо журчащего ручья, вдоль которого лазоревыми каймами цвели густые заросли незабудок.

Феокрит и Миртилла с наслаждением вымыли в хо-лодной воде запыленные ноги, руки и лицо. Миртилла расчесала волосы, заплела их в две косы. Принялись за еду. У них был с собой каравай хлеба, жесткий, но жирный и вкусный сыр, который особенно хорош в доро-ге, соленые оливки, сваренные вкрутую яйца. Вынули из кожаного мешка и связку сушеных фиг, и деревянную коробку с печеньем. Миртилла хотела захватить еще пряников, которые так понравились Феокриту, но для путешествия они не годились — мед бы потек на жару. Путники запили трапезу кубком душистого хиосского вина, разбавленного чистой горной водой.

А теперь спать, спать... Глаза у Миртиллы слипались, но надо было еще собрать и выбросить в кусты объедки, снова вымыть замазанные руки, завязать мешок. Феокрит, посмеиваясь, расстилал на траве мягкую пушистую хлену. Ребенок же она большой, его подруга. Совсем поребачьи трет глаза кулаками и зевает.

Быстро засыпают в юности, а в особенности после доброй сотни стадий\* по горам, да без привычки, да после ночи почти бессонной. Миртилла только сняла хитон, положила его под голову, подогнула по привычке колени, и сразу бог сна принял ее в свое бездумное царство.

Феокриту спать не хотелось. Для него, уроженца многогорной Сицилии, этот переход с многочисленными остановками был простой прогулкой. Только ноги все же немного натрудил, потому что, не подумав, надел в дорогу новые сандалии, а старые раб уложил, вместе с хленой, на самое дно мешка.

Было жарко. Горизонт чуть заметно дрожал. В темно-голубом небе медленно плыли кудрявые облака. Мухи, попадая из тени на солнце, вспыхивали, как драгоценные камни египетской царицы. Миртилла чему-то улыбалась во сне. На ее загорелой груди мерно перекатывалось солнечное пятнышко. В лесу прерывисто куковала кукушка. Должно быть, перелетала с дерева на дерево, потому что ее голос то усиливался, то становился еле слышным. Пробираясь между травинками, черной нитью ползли муравьи.

Всюду в мире была жизнь, движение, слепящий свет и густые тени. Не совершенный и не вечный, он все же был прекрасен, этот никем не созданный, сам по себе существующий мир. Были прекрасны далекие острова Пропонтиды, белые анемоны с серебристым пушком на стеблях, незабудки у ручья, прозрачнокрылая стрекоза, севшая на молодой побег дуба. Но прекраснее всего было загорелое тело юной женщины, которая, ничего не боясь, согласилась идти в горы. Феокрит нагнулся над спящей и осторожно поцеловал ее мягкие косы.

Уселся рядом, опершись спиной о ствол молодого дуба. Смотрел на сияющую гладь Пропонтиды. Вспоминал свои творения. Где-то там, на берегу Вифинии,

---

\* Более 18 км.

пристал корабль аргонавтов, плывший в Колхиду, и юноша Гилас, возлюбленный мощного Геракла, отправился отыскивать воду:

Медный кувшин захватил и увидел он скоро источник,  
В русле глубоком текущий; вокруг него разные травы:  
«Ласточкин цвет» темнолистый, зеленые «женские кудри»,  
С пышной листвой сельдерей, ломоноса ползучего стебли.  
В глубь ручья хоровод недреманные Нимфы водили,  
Нимфы — богини ручьев, уstraшенные сельского люда,  
Нимфы Эвника, Малида, Нихея со взором весенним.

Юноша склонился над омутом, погрузил в воду принесенный сосуд, и влюбленные нимфы увлекли его на дно...

В десятке шагов от Феокрита горный ручей чуть слышно булькал. Над ним вились мелкие голубокрылые стрекозы. Еле ощутимый ветерок шевелил готовые зацвести метелки трав. Так же было и давно, давно, на острове Косе у источника Бурины:

...теперь близ потока  
Вязы промеж тополей разрослися тенистою рощей,  
Зеленью пышных вершин соткав густолистые своды.

Феокрит приходил туда рано утром. Было знойное лето, но на заре дышалось легко. Ждал, посматривая на дорогу из городка. Козы поднимали густую белую пыль, беспокойно блеяли, догоняя друг друга. У источника разбредались по лугу. Жадно щипали всегда свежую ярко-зеленую траву. Пастушка Мирто, босоногая, загорелая до черноты, неумело обнимала друга. От нее пахло сычугом и хлебом, но на острове Косе никого так не любил Феокрит, как эту девушку с белым шрамом на левой щеке. Ее давно нет в живых, вряд ли сохранился и могильный холмик, но, наверное, так же журчит там источник, звенят на деревьях невидимые цикады, и кто-нибудь с нетерпением ожидает подругу, сидя в прохладной тени.

Миртилла больше не улыбается. Молодой сон наглухо закрыл двери жизни. Захотелось полежать и поэту, но только на солнце — почти целый день шли по лесу. Вышел на поляну. Сняв одежду, растянулся на траве. Закрыв глаза. Сквозь веки чувствовал красный солнечный пожар. Ласково-жгучие потоки лились на млеющее тело. Пряно пахнул чебрец. На разные голоса трещали не многочисленные еще кузнечики.



Хотелось спать, но хотелось и думать. Вот и лето — пятьдесят седьмое лето его жизни. У Миртиллы на грядке распустились первые лилии. Их немного в саду — всего пять или шесть кустов. На будущий год хочет посадить еще. Но будет ли он жив через год... Ничего, правда, не болит, но разве долго человеку умереть... Соседа-булочник в Александрии... На двадцать лет моложе, ни на что не жаловался, а потом упал на улице — и конец... Нет, не стоит о смерти. Не знаем, что будет завтра, но жить надо, жить. Как он мог так долго без Миртиллы?... Вздор... вздор... ее же и на свете не было...

Путаются мысли, разбегаются, все застилает золотой туман. Все-таки о Миртилле надо подумать, пересилить солнце. Теперь не расстанутся. Или ее в Египет, или сам поселится здесь. Жаркое солнце в Троаде, не хуже, чем в Александрии... жаркое... По груди ползет какая-то колючая тварь, щекочет. Надо бы согнать, да лень пошевелиться. Жаркое солнце в Троаде.

Что-то больно куснуло ногу. Феокрыт проснулся, лениво приоткрыл глаза. Миртилла, насупив брови, подбиралась к слепню, впившемуся в его бедро. Она уже давно сидела рядом, отгоняя мелких мух, но большую проглядела. Ловко схватила ее проворными пальцами и, раздавив слепня, бросила в траву.

В памяти поэта подруга навсегда осталась такой, как она была в это мгновение. Миртилла стояла на коленях, спиной к солнцу. На правом локте травяные стебельки выдавили переплет покрасневших следов. Против света нагое загорелое тело казалось еще темнее.

— Я разбудила тебя, прости...

— Не ты, милая... муха.

Феокрыт приподнялся, взял ее за руки.

— Козочка моя...

— Милый...

Миртилла снова положила голову на плечо поэта. Любила так. Косы с увядшими незабудками упали на его колени. От горячего вздрагивающего тела подруги пахло душистым маслом. Феокрыт почувствовал, что с умиленной нежностью борется страсть. Побеждает ее...

Дрозды пели, как и прежде. Чирикали кузнечики. Кукушка закуковала неожиданно близко. Любящие не слышали ничего.

К вечеру они спустились к истоку речки Родиуса.

В горах за весь день не встретили ни одного человека. Феокрит был доволен. Он исподволь много разузнал о тех местах, по которым предстояло идти. Не ошибся, значит...

Опасны встречи с лихими людьми, но им нечего делать в этих трущобах. Никто здесь не живет. Зимой ездят за дровами крестьяне и рабы, но далеко в горы не забираются. Боятся зверья. В теплое время на горных лугах, где кончается лес, можно встретить пастухов, но их поэт не боялся. Надеялся, что достанет у них хлеба и сыра, да и молока они с Миртиллою попьют вволю.

Феокрит думал о зверях. Волков в лесах Троады и Кебрены много. Скот и овец режут часто, но на людей летом не нападают никогда.

Медведи... Что-то о них не слышно, да и слава у здешних медведей хорошая еще с древних времен. Беременная жена царя Приама, Гекуба, некогда увидела страшный и непонятный сон. Снотолкователь сказал, что у нее родится сын, который погубит и Трою и все царство Приама. Царь велел пастуху Агесилаю бросить ребенка на вершине Иды. Через пять лет тот же Агесилай нашел там красивого и здорового мальчика, которого назвал Парисом. Царского сына вскормила медведица.

Кабаны... Кабаны опасны для незадачливых охотников, а от путников они убегают.

Оставались львы. О них рассказывали немало страшных историй. Поэт пробовал дознаться, где же, когда и кого растерзали львы и кто их видел в здешних местах. Видевших в Лампсаке не оказалось. Никто не слышал и львиного рыканья — даже старый нищий, бывший пастух, проводивший в горах большую часть года. За всю жизнь он не видел и львиных следов, хотя знал, что лев похож на огромную кошку. Жило в Троаде воспоминание о львах, жили призраки древних львов, а не живые страшные хищники.

Суеверные люди твердили, что и впрямь бродят в горах призраки — только не зверей, а людей. Бродят и до смерти пугают путников. В привидения поэт верил только в детстве. Его подруга верила крепко и теперь. В душевные летние ночи в Лампсаке одни старики да больные спят под крышей. Миртилла тоже укладывалась в саду под платаном, но одна спать боялась. Поклонников боль-

ше не было. Велела лечь рядом Эвное, а не то, пожалуй, придет умерший ростовщик, бывший хозяин, или еще кто-нибудь. В горах куда больше нечисти, чем в городе. Там случается и так, что злобные демоны сталкивают путников в пропасти.

Но сильна любовь, все побеждает любовь, — отправляясь в горы с поэтом, Миртилла не побоялась и демонов. Ради Феокрита была готова на все. Перебирая в памяти тех, кто обладал ею с той ночи, когда она впервые отдалась старому купцу, Миртилла чувствовала, что на пиру у Неофрона поэт невзначай сказал ей правду. До сих пор никого еще по-настоящему она не любила.

Феокрит стал для Миртиллы всем — и любовником, и опекуном, и единственным настоящим другом. Поседевших висков и светлых морщинок вокруг глаз она не замечала. Никто еще так с ней не обращался, как этот человек, и никто так не умел любить.

В эту ночь на берегу Родиуса поэт и его подруга впервые спали вместе. Подостлали плащи, накрылись теплой хленой — в горной лощине было свежо. Перед тем как улечься, Миртилла прошептала мольбу Афродите. Обещала богине, что, вернувшись в Лампсак, возложит на ее алтарь масличную ветвь. И не шерстяной повязкой обовьет, как обычно, а лентой из самого лучшего шелка.

Встали поздно, когда солнце уже добралось до глубокой долины Родиуса, и на ясенях вдоль речки начали звенеть цикады. Тихое золотистое утро снова предвещало горячий день. Ворковали дикие голуби. Над зарослями пурпурного кипрея медленно плавали белые бабочки.

На душе у Миртиллы была блаженная радость. Пожалела, что нет с ней матери. Обняла бы ее, шепнула на ухо: мама, мне хорошо. Помолись Афродите, чтобы всегда было так..

### XIII

Второй день пути дался легче, хотя горный кряж, на который поднимались Феокрит и Миртилла, был много выше, чем предыдущий. Первые два-три часа ноги Миртиллы снова не хотели ее слушаться. Каждый шаг отдавался болью в икрах. Потом понемногу разошлась,

перестала думать о том, когда же Феокрит предложит отдохнуть. В ногах будто прибывало силы. Дышала полной грудью, и сердце больше не прыгало, как накануне. В лесной тени теплый застоявшийся воздух ласкал чуть прикрытое тело. Чтобы легче было идти, Миртилла надела на этот раз короткий домашний хитон из тонкого полотна с прорезью только для левой руки. Правая и половина груди была открыта. Появись юная женщина в таком одеянии перед суеверными пастухами, они, пожалуй, приняли бы ее за здешнюю нимфу Энону, дочь бога реки Кебрена, которая когда-то любила Париса. Но тропинки, по которым пробирались путники, проделали не люди, а дикие козы, олени и кабаны. Их следы виднелись всюду, где земля была влажной, — особенно по берегам потоков, сбегавших в Родиус. Привычный глаз Феокрита замечал кое-где и клочья шерсти на стволах деревьев, и места, где валялись в грязи кабаны. Несколько раз, сняв сандалии, путники переходили вброд холодные быстрые потоки.

Странствие по лесным дебрям, вдали от людей, все больше и больше нравилось Миртилле. Никто здесь не завидовал, не подглядывал, не ехидничал. Некому было ни расспрашивать, ни сплетничать. Род человеческий перестал существовать. Остался Феокрит и она, его подруга. Кругом был зеленый, солнечный, неожиданно новый и совсем не страшный мир. Никогда еще горожанка Миртилла не видела ни следов лесных зверей, ни лужаек, поросших цветущими буквицами, ни кустов можжевельника с незрелыми еще, терпко пахнущими ягодами. Птицы подпускали близко — не то что в садах Афин. Однажды, когда путники присели отдохнуть, из кустов орешника выбежал тонконогий козленок, остановился шагах в десяти и, понюхав воздух, принялся разглядывать людей. Миртилла вздумала было его покормить, но только шевельнулась, козленок сделал высокий прыжок и пропал в кустах. Все радовало спутницу Феокрита, все удивляло, но больше всего, как и накануне, удивляла вторая весна, понемногу сменявшая лето. Снова начала светлеть и редеть листва дубов, пропускавшая непельный полусвет. Появились под деревьями белые звездочки анемонов, давно отцветших на побережье. Еще выше мелковырезные дубовые листья обратились в пучки бледно-коричневых тряпочек. Потом лес стал

редеть. Пошли цветущие кустарники, залитые жарким солнцем.

После полудня подъем кончился. Феокрыт и Миртилла вышли на широкую седловину между двумя невысокими вершинами. Здесь дубов уже не было. Их сменили редкие вековые сосны с раскидистыми кронами. Ни одна из них не походила на другую, но каждая была по-своему прекрасна. У одних темные шапки нависали низко над землей, у других вздымались волнистыми кручами.

Поэт усадил Миртиллу на большой мшистый камень. Сам сел рядом. Молча любовался сосновыми островками, разбросанными по сизо-зеленому горному лугу. Местами нежно-пурпурными пятнами тянулись заросли цветущего раkitника. Аромат цветов смешивался с запахом разогревшейся земли. Дразняще-легкий воздух слегка пьянил Миртиллу, никогда еще не бывавшую так высоко.

Феокрыт и его подруга долго разыскивали воду. Ручей нашелся на самом краю седловины, вблизи от подножья холма. Он сбегал уже не на север, как все потоки, которые путники встречали за этот день, а прямо на юг, должно быть, в невидимую пока долину Скамандра.

Снова умылись холодной водой, основательно поели. Феокрыт подумал о том, что пора бы пополнить запасы. За два дня кожаный мешок стал наполовину легче — даже больше, чем наполовину, а путь еще предстоял немалый. Снова Миртилла уснула, как набегавшийся ребенок. Только успела улечься поудобнее, подогнула колени и сразу замолчала на полуслове. Феокрыт решил, что и ему можно поспать. На цветущем лугу под сверкающим голубым небом, вдали от людей никакие беды не грозили. Не львы же в самом деле нападут. Проснулись под вечер. Солнце клонилось к закату, и тень высокой сосны, под которой лежали путники тянулась на добрый плетр\*.

Идти дальше, спускаться в долину Феокрыт в тот день не собирался. Зачем зря утомлять Миртиллу?.. Неофрон, конечно, волнуется, ожидая их возвращения, но что же делать. Рассказать начистоту гостеприимному хозяину о задуманном путешествии — значило от него

---

\* Около 31 метра.

отказаться. Не тот теперь Неофрон, каким был в дни пешеходных странствий по Элладе. И тело у него отяжелело и дух. Сказал бы, что не трех рабов нужно в горах, а конвой человек так в десять, да и то опасно. Пусть лучше думает, что гость совершает прогулку вдоль людного берега.

Феокриту стало весело. Рабы-то в Геллеспонте купаются. Почувствовал себя школьником, обманывающим учителя, который превыше всего любит порядок. Придется-таки просить у него прощения, но обойтись без обмана было нельзя. Нужен в жизни порядок, нужен и беспорядок. Всем нужен, а особенно поэтам... Иначе читатели с тоски помрут.

Переночуют где-нибудь на этом гребне. Продолжение беспорядка завтра, а сейчас надо еще взобраться на холм и как следует осмотреть местность. Оделись, пошли. Феокрит в такт шагу насвистывал полюбившуюся ему боевую песню гоплитов. Миртилла ему вторила. Выспавшись, она чувствовала себя отлично. Ноги теперь снова свои, молодые крепкие ноги. На душе спокойно и ясно. Никого не надо бояться, ни о чем не нужно думать. Думает Феокрит — и за себя и за нее.

Дойдя до самого подножья довольно крутого холма, Феокрит и Миртилла умолкли. Опираясь на посохи, побрели среди известковых осыпей, поросших кустами раkitника. На самой вершине короткая жесткая трава скользила под ногами, словно подмерзший снег. Миртилла сняла сандалии, взбежала на последний пригорок и радостно вскрикнула. Перед ней за голубой долиной, высилась многоорогая громада лесистой горы со множеством темных ущелий: Гигантскими зелеными валами вздымались крутые отроги. Внизу уже царила голубая мгла, гребнями владело солнце.

— Феокрит, это Ида?

— Да, дорогая...

Миртилла упала на колени перед священной горой. Давно уже знала наизусть гимн Афродите, которым поэт начал застольную беседу в ее саду. Не раз и дома и в храме вместо молитвы своей богине повторяла стихи Сапфо:

Я к тебе, чаровница, с мольбой припадаю:  
Пусть меня, о владычица, больше не мучат  
Скорь и печали!..

Снова зашептала их, смиренно сложив руки на груди. На загорелых обветренных щеках юной женщины проступили дорожки слез. Миртилла просила Зевсу дочь сохранить ей любовь Феокрита.

Путники долго сидели, молча любуясь горой, на которой вечерние тени боролись со слабеющим уже солнцем. Глубокая долина, отделявшая их гребень от Иды, постепенно расширялась по направлению к западу. Там, сколько хватал глаз, зеленела широкая равнина, освещенная солнцем. Вдоль змеиных извивов небольшой речки виднелись деревни, окруженные садами и желтыми пятнами полей. Моря видно не было,— должно быть, оно пряталось за дальними отрогами Иды.

Поэт с волнением смотрел на змеящуюся речку. Она начиналась где-то в ущельях Иды и едва заметным потоком текла перед ним на дне лощины. Это был Скамандр, одна из двух рек Илиона. На его берегах некогда шли бои Троянской войны. Зевс наблюдал за сражающимися с одного из холмов Иды и метал оттуда молнии, вмещиваясь в пользу троянцев.

«Илиады» Миртилла не читала. Кое-что знала с чужих слов. Рассказывать ей о славе Скамандра не стоило, но Феокрит знал, что подруга любит миф о суде Париса. Хотелось и самому лишний раз его вспомнить накануне восхождения на знаменитую многолесистую гору. Становилось свежо. Феокрит развязал мешок. Накинул на плечи Миртиллы дорожный серый гиматий, оделся потеплее сам и начал долгий рассказ о том, чего нет у Гомера.

Боги собрались на свадьбу царя мирмидонян Пелея с пышногрудой нимфой Фетидой, одной из пятидесяти дочерей обитателя моря Нерея. От брака их впоследствии родился герой Ахиллес. Пиршество происходило на горе Пелионе в Магнесии\*. Небожители покинули недалекий Олимп и веселились вместе со смертными, услаждаемые хорами нимф. Боги и богини собрались дружной семьей. Среди них была и Гера, супруга Зевса, царица неба, и его божественные дочери — благоразумная Афина-Паллада, родившаяся, как известно, из головы своего отца, и другая дочь — Афродита.

Хотелось Феокриту добавить от себя, что богиня

---

\* Северо-восточное побережье Греции близ острова Эвбей.

любви, в отличие от сестры, благоразумием отнюдь не отличалась. Вот здесь же, на горе Иде, произошло ее любовное соединение с Анхизом, отцом благочестивого Энея. Поэт мог бы перечислить немало и других приключений небесной покровительницы гетер, но, как всегда, боялся обидеть верующую подругу. Говорил серьезно — только умные карие глаза порой смеялись.

Склочниц и сплетниц на свадьбы не приглашают. На Олимпе тоже была своя склочница, богиня раздора Эрида. Не пригласили и ее, но Эрида все же прилетела на Пелион. Никому не показываясь, бродила вокруг пирующих и обдумывала месть.

В то время как Хариты, спутницы богини любви, пели сочиненный Аполлоном гимней\*, среди пирующих упало золотое яблоко с надписью «превосходящей всех красотой». Яблоко переходило из рук в руки и тотчас же перессорило богинь. Нимфы, хоть и прочли надпись, но соперничать с бессмертными не решились. Гера, Афина и Афродита волновались больше всех. Каждая считала себя прекраснейшей и просила Зевса отдать яблоко ей. Отец богов от решения уклонился, вручил яблоко Гермесу и велел ему тотчас же отправиться вместе с богинями на гору Иду. Там пасет свое стадо Парис и пусть он, смертный, рассудит бессмертных.

Поэт знал родословные небожителей и их дела, не всегда похвальные, лучше любого жреца. Не раз славил эгидодержавного Зевса, отца богов, чья забота «всех окружает владык благородных»:

Песню, от Зевса начав, окончим мы Зевсом, о Музы,  
Если хотим мы прославить того, кто бессмертных всех выше.

Было за что благодарить Феокрита Афродите-Киприде, Эроту, широкогрудой Афине, Артемиде, богине чар Гекате, помощнице при родах Илифии, розоперстой Эос — многим и многим олимпийцам, старшим и младшим. Не меньше были ему обязаны и скромные божеества лесов, полей и источников, полубоги, смертные дети бессмертных богов.

Он прославил сына Гермеса, пастуха Дафниса, влюбленного в нимфу Ксению, его беды и раннюю смерть.

---

\* Свадебная песнь.





объял страх. Он бросился было бежать, даже не взглянув на трех женщин, следовавших за Гермесом. Божественный вестник в одно мгновение догнал Париса и, объяснив, в чем дело, привел обратно.

Царевич-пастух понял, что волю громовержца придется исполнить. Согласился стать судьей небожительниц.

Афродита, охотно снимавшая одежды, предстала перед ним нагая. Только волосы, искусно убранные Харитами, стягивала блестящая повязка и ноги были обуты в сандалии работы небесных мастеров.

Хотелось и Гере последовать примеру дочери, но нельзя было. И богини подвластны обычаю, а на Олимпе испокон веков никто, кроме Зевса, не видел Геру раздетой. Афина-Паллада, как всегда, была облачена в длинный пеплос. Она еще строже матери следовала древнему обычаю и не обращала внимания на насмешки сестры.

Гера обещала Парису власть над Европой и Азией, Афина — славу побед, Афродита — обладание Еленой, прекраснейшей из смертных.

Юноша колебался. Незнакомка Елена вряд ли была лучше Эноны, которую он любил. Власть и слава его не привлекали. Парис еще раз внимательно посмотрел на небожительниц, ожидавших его решения. Снова подумал об Эноне. Ее тело было прекрасно, но богиня, стоявшая перед ним без одежды, была все же еще прекраснее.

Парис вручил яблоко Афродите. Эрида — раздор торжествовала. Гнев Геры и Афины-Паллады был ужасен. Вражда надолго разделила богов и людей. Илиону предстояло погибнуть.

— А все-таки Афродита прекраснейшая!.. — Миртилла была крепко уверена в том, что Парис не ошибся. Приподнялась и даже стукнула кулаком о землю. Очень ей хотелось, чтобы Феокрит подтвердил справедливость пастушьего приговора. Поэт ничего не ответил. Подумал о том, что, будь он на месте Зевса, пожалуй, велел бы разрезать яблоко на три части и каждой по кусочку... Тогда Андрوماха не потеряет мужа, Гекуба умрет царицей; хитроумному Одиссею незачем десять лет скитаться по морям. В мире, правда, одной войной меньше, но нет ни «Илиады», ни «Одиссеи»...

Заря погасла. Высоко в небе догорали легкие перистые облака. Горы Трояды из фиолетовых стали темно-

синими. Феокрит молча смотрел на подернутую сизой дымкой равнину Скамандра. Там, где некогда стоял город Приама, виднелось далекое зарево. Поэт вспомнил свои молодые стихи:

Вашу же славу, владыки, Хиосский певец\* возвеличил,  
Город Приама воспев, корабли боевые ахейян,  
Битвы вокруг Илиона, Ахилла, в сраженьях опору.  
Также и я приношу вам от Муз звонкогласных напевы!

— А все-таки Афродита прекраснейшая...— Миртил-ла шепотом повторила то, о чем не переставала думать. На этот раз Феокрит отозвался. Обнял ее и сказал тоже шепотом:

— Не прекрасней тебя, дорогая...— И опять, как тогда на пиру у Неофрона, она испугалась. Нельзя же так... Богиня разгневется.

Когда Феокрит и Миртилла спустились с холма, на небе уже горели первые звезды. Путники снова направились к ручью. Вдруг Миртилла схватила поэта за руку и испуганно прошептала:— Люди!

По поляне шли двое мужчин. Было еще довольно светло, и Феокрит сразу узнал пастухов. Успокоил Миртиллу. Конечно, они — кому же и быть здесь в такую позднюю пору. Пастухи шли быстрыми шагами горцев. Заметив путников, остановились. Кто их знает. Но Феокрит, взяв Миртиллу за руку, сам пошел навстречу. Женщина... значит, бояться нечего. Сошлись, поздоровались. Пастухов было двое — худощавый лысый старик в коротком хитоне с сумкой через плечо и юноша, всю одежду которого составляла черная баранья шкура, обернутая вокруг бедер. Оба были босы. От них крепко пахло едким потом усталых мужчин.

Старик торопливо спросил:

— Телку не видели?

— Не видели.

— Куда же она задевалась, проклятая животиная...

Ну, прощайте!

— Постой, постой, старина!— Феокрит положил тяжелую руку на плечо пастуха.

— Некогда мне с вами. Не мешай...

— На тебе — выпьешь за наше здоровье.— Старый

---

\* Гомер.

раб низко поклонился человеку, ни с того, ни с сего давшему триобол.

— Молоко есть?

— Есть, есть...

— И сыр?

— Все есть. Провожу вас — здесь близко.

— А как же твоя телка? Мы бы подождали...

— Парень поищет. Идем, господин! — Старик суетился. Чувствовал, что странные путники заплатят и хорошо заплатят. Сразу триобол. Наверное, отец с дочерью. Ну, там отец или не отец, а деньги у них есть...

Старик знаками показал юноше, где искать телку. Тот кивнул головой и понимающе промычал. По дороге старик объяснил:

— Племянник мой... Добрый парень, красивый, сильный. Женить бы его пора, да беда — и не говорит и не слышит. Маленьким был как все, а потом какая-то болезнь напала. Кто за него теперь пойдет?..

— Пойдет, дедушка, пойдет... — голос Миртилле звучал уверенно. — Если девушка полюбит, так и за слепого пойдет.

— Я, красавица, много прожил, а такого еще не видел.

— А я видела, хотя и молодая. Одному солдату на войне выбило оба глаза. Вернулся к матери, и моя подруга за него вышла.

— Богатый был?

— Нет, бедный, и она бедная...

Старик ничего не ответил. Он прислушивался к тому, как говорит Миртилла. Должно быть, приезжая, и мужчина тоже не здешний. Куда это они?.. Ну, не его это дело... Господа...

До землянки пастухов оказалось не близко — добрый десяток стадий. Старый раб побоялся сказать правду. Не захотят, чего доброго, чужеземцы идти, и ничего ему не достанется. Спустились, поднялись, снова спустились. Шли гуськом вдоль опушки леса. Луна уже взошла, и на серебряной земле лежали густые тени. Между кустами плавали зеленые огоньки светляков. Миртилле хотелось есть, но еще больше хотелось спать. Наконец показался красный отсвет костра. Залаяли собаки. Миртилла едва не упала, наткнувшись на кучу спящих овец. Пришла в себя — ей уже казалось, что не она идет, а кусты плы-

вут мимо нее. Подошли к костру. Ночная прохлада сменилась волнами дымного жара. Нагой мальчик — подпасок, варивший ужин, подбрасывал в огонь сухие коряги. В котле, подвешенном над костром, клокотала похлебка. Что это было за варево, Миртилла не разобрала — в городе, пожалуй, и в рот бы не взяла, но после двух дней сухоедения и многих, многих стадий ужин оказался удивительно вкусным. Выпила еще парного молока, но овечьего сыра не захотела — его надо было есть с хлебом, жевать, терять время, а сон валил на землю, голоса звучали где-то вдали, перед глазами роились огненные пчелы. Пришлось Феокриту снять с заснувшей подружки сандалии, положить ей под голову мешок, укутать хленой. Пастух уговаривал переночевать в землянке — там и под утро не будет холодно, и нары есть, и сено. Поэт не захотел. Знал хорошо, что в таких землянках зачастую полно клопов да и других насекомых. Улегся рядом с Миртилкой. Спать ему еще не хотелось. Смотрел на небо, думал. Старик ушел в землянку. Глухонемой парень привел наконец телку, поужинал, лег спать по другую сторону костра вместе с подпаском. Огонь потух, осталась куча постепенно тускнеющих углей. В лесу ухал филин.

Звездам было не под силу состязаться с полной луной. Даже Сириус светил не ярко, и серебристая Вега робко дрожала перед лицом Селены. Волосы Береники мерцали чуть заметно. Ох уж эти волосы... Не хотелось о них думать, но в тишине ночи думы были сильнее желания их прогнать. Глупая история, очень глупая, а пожалуй, вся жизнь сломается из-за застольной болтовни. Тяжело будет без библиотеки, без александрийских друзей, без помощи Птолемея. Снова подумал — хорошо бы ни от кого не зависеть, но ведь не обойдешься без этого. Все равно надо искать покровителя... Найти-то найдет — многие теперь знают Феокрита, но кем он еще окажется, новый благодетель?

Хотелось спать, а сон не приходил. Старость, что ли, подбирается... Раньше, когда бродил по горам, стоило положить голову на сумку, и сразу засыпал. Перевернулся на другой бок, укрылся с головой. Нет, не приходит сон... Вдруг стало жалко недавно умершего царя. Иногда забывал об его жестокостях. Говорили по душам. Оба когда-то учились у поэта Филета Косского, оба

любили его родной остров. Птолемей на нем родился. Феокрит провел там и юность и молодость. Вспомнил, каким был царь в последние месяцы жизни. И лет-то еще не так много, но подагра замучила. Желтый, обрюзгший. Не мог ни ходить, ни сидеть — носили на окованных золотом носилках из палисандрового дерева. Случалось, днями и ночами кричал от боли. Однажды призвал в опочивальню, велел читать Гомера. Слушал, морщился, стонал. Потом рассказал, что во время прогулки на носилках увидел отдыхающих рабов-землекопов. Одни спали на самом солнцепеке, другие тут же ели, да с какой охотой ели — любо было посмотреть. А он, царь Египта, Сирии, Ливии, земли эфиопов, ни спать, ни есть не может. Сказал, сдерживая слезы: — Горе мне! Почему я не родился одним из этих людей?..

Да, от смерти никому из нас не уйти. Блуждаем здесь, не зная, что будет завтра, а все-таки жизнь хороша, хороша, хороша... Подумал уже весело: «Вот у царя Миртиллы не было, а подагра была, у меня же наоборот, и я богаче всех Птолемеев...» Подумал и сразу же заснул.

Пастух не ошибся. Поутру Феокрит щедро заплатил за ночлег, молоко и сыр, купил еще на дорогу каравай не очень черствого хлеба. Старик долго кланялся тароватым путникам, а про себя думал: «Хорошо на свете богатым, куда как хорошо. Вот этот и женушку себе выискал такую, что годится ему в младшие дочери».

#### XIV

Спустившись с гребня, на котором они ночевали, Феокрит и Миртилла попали в густые заросли кустарников, среди которых высились серебристые тополя, ветлы и черные ольхи. Земля поросла осокой, больно резавшей ноги. Обувь пришлось снять — ступни то и дело погружались в жидкую грязь. Чем ближе к воде, тем труднее становилось идти. Приходилось продирааться через высокие кусты, оплетенные княжником и вьюнком. Когда путники наконец вышли на берег Скамандра, он оказался совсем не ручейком, каким его видели сверху, а не очень узкой быстрой речкой. Мутная желтая вода бежала между глинистыми берегами, заросшими ивняком. Феокрит сразу понял, что вброд речки не перейти. Миртилла заупрямилась. Подобрала хитон, попробовала

войти в воду, но, сделав несколько шагов, испуганно вскрикнула. Дно оказалось топким, и Миртилла выше колен провалилась в жидкую грязь. Феокрит кое-как помог ей выбраться. Попенял за неосторожность. Нельзя шутить со Скамандром — разгневется. Когда-то он, соединившись с Симоисом едва не погубил самого Ахилла. Спасли героя Афина, Гефест и Гера.

— А меня Афродита и ты! — Сердце у Миртиллы еще колотилось от испуга, но она пробовала шутить. Посмотрела на испачканный илом изорванный хитон, на грязные, покрасневшие от холода ноги. Нехорошо выругалась про себя — вслух она никогда не ругалась при Феокрите. Здесь нельзя было и вымыться — топь, как видно, всюду начиналась от самого берега. Пришлось снова продираться через кустарники. Наконец нашли подходящее место для переправы. Глинистый берег сменился каменистой осыпью. На другой стороне тоже были камни. Миртилла принялась застирывать свой хитон. Солнце пекло спину, а от студеной воды горной речки по телу бегали мурашки. Феокрит, наломав сучьев, соорудил плотик для вещей. Предстояло плыть, толкая его перед собой.

Миртилла успокоилась. Все, что затевает Феокрит, удается хорошо, а бороться со Скамандром все же куда занятнее, чем слушать лампсакские сплетни. Плавала Миртилла неважно. Только недавно научилась, живя в Лампсаке, — в Афинах некогда было добираться до неблизкого моря. Знала все же, что Феокриту не придется ее спасать — для речки шагов в восемьдесят-сто шириной сил хватит. Поэт был отличным пловцом — справился бы и с Геллеспонтом, а не то что со Скамандром, слава которого, как известно, много больше его самого.

Всю одежду сложили в мешок, оставили его пока на берегу. Феокрит ободряюще взглянул на подругу, по обыкновению, улыбнулся. На всякий случай подхватил ее на руки, внес в воду. Дно оказалось твердым; мелкие камешки кололи подошвы. Путники поплыли. Миртилла не волновалась, хотя неопытные руки и ноги плохо справлялись с холодным быстрым потоком. Течение сильно ее сносило. Берег как будто не приближался, но Миртиллу это не пугало. Рядом с ней, не спуская глаз с подруги, плыл Феокрит.

Выбраться на берег снова оказалось не так-то легко.

Скамандр снес пловцов дальше, чем рассчитывал Феокрит, и им пришлось брести по колено в грязи. Когда наконец, ухватившись за ветви ив, вскарабкались на глинистый откос, обоим стало смешно. Голые, мокрые, грязные — не то потерпевшие кораблекрушение, не то дикие эфиопы.

— Представь себе, Миртилла, что нас увидел бы сейчас Неофрон...

— Или моя Эвноя.

— Или твои злопахательные соседки...

— Или старенький философ. Помнишь, Феокрит, — он такое умное говорил, что сам, наверное, не понимал.

— Ну, понимать-то, положим, понимал, но сейчас Филоксен еще бы кое-что понял.

Миртилла, вытиравшая ноги пучком травы, пылливо взглянула на поэта.

— Что же?

— А то, что моя Миртилла не трусиха и что я ее люблю, люблю, люблю...

Они обнялись, не заботясь о том, что снова пачкают друг друга черным илом Скамандра. Опять их затрясла ласковая лихорадка любви. Потом Феокрит поплыл обратно и вскоре вернулся, толкая плотик с вещами. Путники оделись и начали восхождение на священную гору. Им посчастливилось найти пастушью дорожку, утопанную копытами овец и коз. Идти по ней было много легче, чем по звериным тропам накануне. Миртилла уже успела втянуться в горную ходьбу. Упруго ступавшие ноги больше не болели, дышала свободно, и пот не ел глаза, как в первый день путешествия. Только после нескольких часов подъема, когда путники приближались к вершине, Миртилла стала чувствовать утомительную легкость в груди. Дорожка шла по вековому лесу. Розовокорые стволы сосен, разогретые солнцем, бодряще пахли смолой. Воздух был ясен и чист, но равнинной горожанке его опять не хватало. Приходилось часто останавливаться и отдыхать. Все же Миртилла жалела только об одном — скоро конец чудесному странствию. Пока жила в Афинах и в Лампсаке, казалось, что иначе и нельзя жить, а теперь со страхом думала о пыльных улицах, о городской тяжелой жаре и, главное, о людях. Не надо их... Вот так бы всю жизнь вдвоем среди гор. Или нет, не вдвоем... Кажется, в первый раз



в жизни недавняя гетера подумала о том, как бы хорошо стать матерью. Феокрит, она и у ее груди кто-то маленький, маленький с ласковыми лапочками. Построить здесь хатку и жить...

Поэт думал почти о том же. Строить хатку в горах Кебрены он, правда, не собирался, но с каждым днем и с каждым часом ему становилось все яснее и яснее, что с Миртилкой он не расстанется. Эти три дня в горах сблизили больше, чем все, что было раньше. Неофрон ошибся, думая, что Феокрит пишет стихи о Миртилке или для Миртилки. Ни о ней, ни для нее еще не было написано ни одной строчки, но поэт чувствовал, что паломничество на Иду без следа не останется. В кого превратится его загорелая подруга, когда придет время взяться за стилос, он пока не знал. Быть может, она станет возлюбленной пастуха Дафниса, Еленой Спартанской, нимфой Эноной или одной из богинь, спустившейся с Олимпа. Мысли не успели еще переплавиться в гекзаметры, но они были все о ней и вокруг нее — легкие, как походка Миртилки, радостные, как ее смех, уверенно-звонкие, как ее голос. Юная полунагая женщина с исцарапанными терновником, изрезанными осоклой ногами и руками заполнила весь мир. В нем не осталось места ни для царицы Береники с ее пропавшими волосами, ни для победоносного Птолемея Эвергета, ни для самого отца богов, тучегонителя Зевса. Солнце светило для Миртилки, дрозды пели для нее, и для нее же на опушке горного бора среди кустов орешника созрела душистая крупная земляника.

В Лампсаке Миртилка иногда покупала ее у детей, собиравших ягоды на окрестных холмах, но там они были мелкие, жесткие и отдавали травой. Увидев красную россыпь, спутница поэта радостно взвизгнула и, присев на корточки, принялась обирать кустики, словно ожидавшие ее прихода. Что-то мурлыкала себе под нос и целыми горсточками торопливо поедала ароматные, сочные ягоды. Феокрит смотрел на подругу с ласковой улыбкой. Двадцатый год, взрослая, много, много пережившая, а добралась до земляники — и стала девчонка девчонкой. Миртилка вдруг вспомнила, что не одна же она. Нельзя так... Через плечо взглянула на Феокрита.

— А ты что же?

— Ешь, ешь, мне неохота.

— Какая там неохота. Старенький ты стал — нагибаться лень.

— Не обижай меня, козочка, рассержусь.

— И не думаю обижать. Ты у меня хороший, только старенький — покормить надо.

Она быстро нарвала полную горсть земляники и, вскочив на ноги, обвила свободной рукой обветренную шею поэта. Поднесла душистую горсть к его рту.

— Ну вот, подкрепляйся, Феокрит.

Он понемногу втягивал губами ягоды. Они были прохладные и сочные, а от шершавой, исцарапанной ладони Миртиллы шло всегдашнее ласковое тепло. Черные глаза смеялись, и совсем близко был ее рот, по-детски измазанный земляникой.

Через полчаса Феокрит и Миртилла стояли на вершине Иды. Горный луг пестрел цветами. На западе, сколько глаз хватало, сверкала необъятная гладь Фракийского моря\* с темными пятнами островов. Зеленела Троянская равнина с тонкой змейкой Скамандра. Только Зевсовы очи могли там увидеть сражающихся воинов. Глаза путников с трудом различали пятнышки дальних деревьев, а Илион некогда стоял еще дальше. Те горные гребни, через которые Феокрит и Миртилла перевалили по пути на Иду, казались отсюда застывшими валами темно-зеленого моря. Пропонтиду скрывали соседние вершины, а Геллеспонт блестел между горами разорванной на части ленточкой.

Солнце, ярко горевшее на безоблачном небе, уже склонилось на запад. И здесь, на вершине, было жарко. С моря веял теплый ветер, шевелил стебли трав, нежил усталое тело Миртиллы. Дойдя до вершины и полюбовавшись морем, она вдруг почувствовала, что больше всего ей хочется прилечь. Воздух пьянил, сразу ослабевшие ноги подкашивались. Миртилла улеглась на любимейшей ей хлене, подложив под голову мешок Феокрита. Спать не хотелось. Лежала на боку, подперев подбородок ладонью, по привычке жевала травинку и смотрела на морскую гладь, подернутую вдали золотистым туманом.

---

\* Древнее название северной части Эгейского моря.

В сумке поэта между двумя кипарисовыми дощечками лежал чертеж, изготовленный для него самим Эратосфеном. Опытной рукой географ набросал приблизительные очертания тех земель, которые предстояло увидеть Феокриту,— Карию, Ионию, Эолиды, Троады, Кебрены. Было изображено и побережье Фракии, и большие острова Фракийского моря. Поэт развернул пергамент, сообразил по солнцу, где юг, и принялся сравнивать чертеж с местностью. Эратосфен, составляя его, воспользовался рассказом путешественника, недавно побывавшего на вершине Иды, и разобраться в наброске было нетрудно. Феокрит отыскал близ берега Троады безлесный Тенедос, за которым когда-то укрывался флот ахейцев. За ним, далеко в море, виднелся плоский Лемнос. Правее его нашелся Имброс, а на самом горизонте чуть виднелась гористая Самофракия, знаменитая своими мистериями и статуей крылатой победы. Узнав, что Феокрит собирается побывать на Иде, Эратосфен сказал ему, что в ясные дни отсюда иногда можно увидеть даже темный треугольник горы Афона на другой стороне Фракийского моря. Искать его нужно на горизонте за северным краем Лемноса. Поэт долго вглядывался туда, но смотреть приходилось против солнца, и даль все больше и больше застилал сияющий туман.

Разыскивая острова, Феокрит не смотрел на Миртиллу. Только сложив чертеж, заметил, что она уткнулась головой в мешок и плечи у нее вздрагивают от беззвучного плача. Подбежал, обнял, заглянул в глаза.

— Родная моя, что с тобой? Заболела?

— Нет... пусти... пусти...

Оттолкнув его руку, Миртилла снова упала на хлену. Зарыдала в голос. Как в детстве, сжала кулаки и отчаянно топала ногами. Феокрит молчал. Не мог понять, откуда вдруг такое горе... Ничего ведь не случилось. Никогда еще поэт не чувствовал так сильно, как она ему дорога. Осторожно гладил растрепанные волосы, дрожащие плечи подруги.

Миртилла наконец затихла. Села, понурив голову. Из распухших, покрасневших глаз продолжали катиться слезы. Взглянула на морскую даль, снова всхлипнула.

— Ну, маленькая моя... хорошая... в чем же дело?

— Феокрит, когда ты уедешь, я умру...

Он обнял ее до боли крепко.

— Радость моя, не я уеду... мы уедем вместе... Понимаешь, родная, вместе... навсегда...

Обычно покорные слова не слушались своего многоопытного хозяина. Миртилла верила и не верила тому, что их слышит. Поверила наконец и снова разрыдалась.

Торжественно сияло Фракийское море, и где-то снаряжался корабль, который увезет ее вместе с Феокритом в страну вечного счастья, где ни одной женщине не нужно себя продавать всякому, кто может ее купить.

В эту ночь они почти не спали. Феокрит рассказал все начистоту. Признался, что боится Птолемеева гнева и, прежде чем вернуться в Александрию, должен разузнать, что говорят о нем при дворе. Рассказал и о том, как утопили Сотада за дерзкие стихи. Миртилла вздрогнула, прижалась к поэту.

— Милый, не надо туда...

Ей хотелось сказать:

— Поедем к маме в Афины...

Не решилась. Ни разу Феокрит не говорил о том, что хотел бы повидать ее старушку. Рассердится, пожалуй... Счастье пришло, но Миртилла боялась, что оно непрочное. Промолчала об Афинах. А поэт принялся говорить о том, как он любит Александрию — не придворную сумятицу, не городской шум, даже не тамошний театр, хотя александрийские актеры играют прекрасно — лучше, чем, например, в Афинах...

Стало обидно за родной город. Разве может быть где-нибудь театр лучше афинского?.. Миртилла все же опять промолчала. Нужно беречь счастье, а то оно может умереть, едва родившись. Бывает, люди совсем из-за пустяков ссорятся навсегда.

Феокрит продолжал:

— Не знаю, поймешь ли ты меня, милая, а хотелось бы, чтобы поняла. Иначе, пожалуй, начнешь ревновать...

Екнуло сердце. Спине стало холодно. Еле выговорила:

— Ревновать... к кому? Значит, у тебя...

— Не волнуйся, глупенькая, — не к кому, а к чему...

Сразу стало легче. Шутит... Собиралась заплакать, а спросила весело, только голос еще дрожал:

— Так кто же моя соперница?

— И соперница есть и соперник — библиотека и музей.

— А что такое музей? Храм, что ли?

— Да, если хочешь, храм... Долго рассказывать — я потом как-нибудь тебе объясню. Если говорить точно, так твоя соперница — это часть соперника. В библиотеке я, случается, провожу целые дни, а тебе придется скучать.

— Не буду скучать, Феокрит. Буду учиться. Я ведь ничего не знаю, почти ничего. Но я могу... я хочу..

— И головка не будет болеть?

— Нет, для тебя я все выучу. И философию выучу..

— Радость ты моя, мне совсем этого не нужно.

— Мне нужно, Феокрит, мне. Не хочу быть глупой, а то надоем тебе.

Она и смеялась, и плакала, и ужасалась тому, что может случиться, и радовалась тому, что есть. Наконец заснула.

Феокриту все еще не спалось. Как и в прошлую ночь, лежал, смотрел в небо, думал. Счастье было с червоточинкой. Верил, что Миртилла полюбила в нем человека, а не сочинителя, о котором немало говорят. Много ли для нее, только грамотной, значат все его писания? Сама призналась, что раньше и не читала и не слышала. Деньги... Не маленькая она — знает и видит, что он не богат. Не сможет покупать ни таких нарядов, какие у нее есть сейчас, ни драгоценностей, вроде браслета с цаплями. Не деньги, не деньги... Посмотрела на море, задумалась, и сразу слезы, да какие... Любит она его.

Судьба послала счастье, но оно как наливное яблоко, вовремя не снятое с дерева — спелое, душистое, а разломишь — внутри червяк. Пятьдесят шесть... Хоть бы лет так на десять меньше, а то ненадолго все это. Одна надежда — умереть раньше, чем придет старость. Хорошо говорят стойки — кончить свои дни подобно спелой оливке, благословляющей дерево — кормильца и землю, на которую она падает. Феокрит вздохнул. Любил жизнь, неохотно думал о конце, но за последние годы все чаще и чаще приходилось выпалывать мысли о смерти. В саду души они были словно репейник на цветочных грядках.

Жизнь надо будет наладить по-иному. В Александрии или не в Александрии, а с Миртиллой всюду хорошо. Если не суждено вернуться в Египет, уедут в Сиракузы, или в Великую Грецию, или на остров Кос. Да, лучше всего на Кос... Птолемей там тоже не хозяин. Принялся вспоминать. Юность, молодость, самые счастливые годы...

Сколько там пережил, перевидал, передумал... Давно, давно уехал с Коса, а кажется, что совсем недавно. Все помнится... Вдоль южного берега невысокий лесистый хребет. Любил на него взбираться по пастушьим тропкам совсем один. С вершины горы Оромедонта любовался морем и окрестными островками. И словно вчера был тот тихий знойный час, когда он с друзьями Эвкритом и Аминтом шел в Галент на праздник жатвы — Фалисий.

Даже и ящерики спят в этот час, забираясь в терновник. Жаворонки — гости могил — и те в этот час не порхают.

У старшего товарища, поэта Асклепиада Самосского, была молодая подруга, гетера Гермiona. Феокрит думал, что состязаться с Асклепиадом в поэзии он не может, но, надеясь на молодость, хотел отбить у него Гермionу. Не удалось... Погоревал, погоревал, утешился. Потом встретился с пастушкой Мирто... Мало ли чего не случилось на Косе. Там и стихи начал писать. Учитель, милый старый Филет, сначала посмеивался, потом стал хвалить.

Теплый, радостный остров... Вино там прекрасное, а фиги такие, каких нигде, кажется, нет. Понравится Миртилле Кос, наверное понравится. Иногда земля трясется, но она не трусиха. Поселятся где-нибудь у подножья гор, возле одного из теплых источников. Купаться можно чуть не круглый год. Миртилла насадит цветов... Феокрит увидел ее в полупрозрачном косском хитоне среди роз с лейкой в руках, улыбнулся и наконец заснул.

В иные дни на вершину Иды приходит летом немало паломников с берегов Адрамитского залива — много там городков и сел. Поднимаются загодя, ночуют наверху и земным поклоном встречают восходящее солнце. Может быть, и Эврипид побывал здесь. Он воспевает священную гору, которую солнце освещает первой, и она «распространяет по лицу земли божественный свет». Феокрит не раз слышал о том, что будто бы с вершины Иды восход солнца виден не так, как в других местах. Уже в полночь по небу рассыпаются какие-то сверкающие огни. С приближением утра они все ближе и ближе сходятся, соединяются и превращаются в единое пламя. Оно горит,

словно небесный пожар, но потом, постепенно округляясь, становится солнечным диском. Готовясь к поездке, Феокрит спросил астронома Конона, правда ли это? Тот рассмеялся — полуночные огни, которые потом превращаются в солнце, конечно, выдумка, но восход с такой высокой горы посмотреть следует — должно быть, очень красиво.

Поэт умел просыпаться в нужный час. С вечера заказал себе встать пораньше и, несмотря на почти бессонную ночь, открыл глаза, когда восток только начал алеть. Миртилле разбудил позже, когда уже рассвело и над темными грядками гор появилось розовое зарево. Было свежо. Путники позавтракали, выпили последнее вино, которое у них осталось, и, закутавшись в гиматии, уселись на траву. На вершине, кроме них, никого не было. Началась жатва, и земледельцам было не до Иды.

Розоперстая дочь Гипериона и Теи\* уже подождала на востоке кружево облаков, возвещая скорое появление светила. Ее сыновья, четыре ветра — Борей, Зефир, Эвр и Нот еще спали. Свежий, чистый воздух был недвижим.

Огромное красное солнце выступило из-за гор неожиданно и торжественно. Миртилла, опустившись на колени, положила долгий земной поклон. Просила Аполлона о том же, о чем много раз молилась Афродите: пусть поможет ей сохранить любовь Феокрита. Поэт стоял рядом, склонив голову, и посматривал на подругу. Залитая тревожным багровым светом, она словно горела на солнечном костре.

Пламенеющий диск отдалился от земли, начал подниматься, вырывая из синей полутьмы вершины соседних гор. Уже нельзя было на него смотреть. На западе таял легкий туман, и сквозь него проступила по-утреннему бледная гладь моря. Миртилла поднялась с земли. Ее лицо стало радостно-розовым, привычным, таким, как любил его Феокрит.

## XV

Северные склоны Иды — сосновое царство, южными владеют дубы. Чем ниже спускались Феокрит и Миртилла, тем гуще и темнее становилась молодая зелень коренастых великанов. Разогревшийся воздух пахнул

---

\* Эос — утренняя заря. Гиперион и Тея — титаны.

лесной прелью. Он был мягок и привычно густ. Миртилла отдыхала от утомительной легкости вершин. Еще ниже среди дубрав появились липовые островки. У широколистных лип не было металлической суровости дубов. Вокруг них стоял медвяный запах незаметных цветов и неумолчно гудели пчелы.

Идти под гору было легко. Только местами на глинистых, не успевших просохнуть склонах сандалии скользили и приходилось рассчитывать каждый шаг. По-прежнему никто не попадался навстречу, хотя путники приближались к густо населенному побережью Адрамитского залива. В зеленой пустыне незачем было одеваться по дорожному. Как и раньше, они шли в одних хитонах. Порой Феокрит принимался громко насвистывать походную песню воинов, Миртилла ему вторила, а над их головами встревоженные птицы перепархивали с дерева на дерево, чирикали, свистели, чувывкали на разные голоса. Никогда еще в жизни Миртилла не проделывала пешком такого длинного пути. За эти немногие дни она заметно похудела. Глаза ввалились, загорелые щеки осунулись, рубцы царапин исчертили голые руки и ноги. Раньше гетеру тревожил каждый прыщик, каждый заусенец. Теперь она ни на что не обращала внимания. С поклонниками покончено навсегда, а Феокрит сказал, что Миртиллу — странницу в запыленном изорванном хитоне он любит еще больше, чем выхолненную городскую красавицу.

Она спрятала на память в сумку веточку липы, под которой отдыхала с поэтом после двух-трех часов спуска. И Феокриту остался памятен этот привал. Было жарко. Сквозь зелень деревьев виднелся голубой Адрамитский залив, а за ним горы Лесбоса, острова поэтов. Лежа на траве, Феокрит рассказал Миртилле все, о чем передумал ночью. Очень бы ему хотелось теперь переселиться к ней в лампакский домик, но нельзя обижать Неофрона. Придется пожить отдельно, пока не пришлют ответ из Египта.

— А долго это будет? — в голосе Миртиллы было тревожное нетерпение.

— Нет, милая, не долго. К осени, наверное, узнаем, может быть, и раньше...

— Ой долго, страшно долго. Как я вытерплю...

— Придется, козочка. Будем видеться... — он не успел договорить — Миртилла умоляюще схватила за руку.



— Каждый день, Феокрит? Скажи, что каждый день... Я не могу без тебя.

— Каждый день, если только Неофрон меня куда-нибудь не увезет.

— А ты скажи, что берешь меня с собой.

— Знаешь, Миртилла, я гость, он хозяин.

— Кербер бы его загрыз, твоего хозяина...

Миртилла уже была готова заплакать. Губы у нее дрожали.

— Не бранись, маленькая, не бранись. Я не люблю, когда ты бранишься. И зря не горюй. Горя-то ведь нет. Правда, нет?

— Нет, но может быть. Куда-нибудь поедешь, встретишься с девками.

— Оказывается, моя Миртилла и ревновать умеет. Не бойся — ни на кого тебя не променяю. Никогда.

— Правда?

— Правда... — он поцеловал ее растрескавшиеся губы и продолжал говорить. Придет ответ — ни одной лишней недели не задержатся в Лампсаке. Либо в Александрию, либо на Кос, а не понравится там, можно и дальше, например, на остров Родос. О нем говорят, что деревья там никогда не бывают без листьев, а дни без солнца. Только Родос чужой, а Кос почти родина...

Миртилла снова прервала поэта.

— Феокрит, милый, я же тебе сказала... С тобой не то что на Кос, а пусть даже к этим самым... как их... варвары, которые кобылье молоко пьют.

— Скифы?

— Да-да...

— Там, Миртилла, морозы, да еще какие. Повозки через реки ездят.

— С тобой мне всюду будет тепло.

— Правда?

— Правда.

Он принялся по-одному целовать ее пальцы. В Лампсаке они были холеные, душистые, с прилежно отполированными ногтями. За четыре дня ногти успели отрасти, под них набилась грязь, ножниц с собой Миртилла не взяла, но это были ее милые пальцы, и, целуя их, поэт готов был заплакать от горячей нежности.

Говорили долго. Феокрит сказал подруге, что все ее домашние расходы берет на себя. Еще раз повторил — он

не богат, но и не беден. Если нельзя будет вернуться к Птолемею, найдутся другие покровители. Про себя снова подумал — хорошо бы без них, но иначе не прожить поэту.

Под вечер дубравы кончились. Пошли заросли вечно-зеленых кустарников и невысоких деревьев. Колючие каменные дубы, дикие маслины с серебристыми листьями, печально-спокойные деревца мирт росли так густо, что идти можно было только по тропинке. В чаще, перевитой колючими плетями сассапарели, стоял душистый зной. Вспотевшие путники спустили хитоны до пояса. Никто их не видел, кроме больших зеленых ящериц, да и те убежали в кусты, чуть только к ним подходили поближе.

Как всегда, Феокрит все замечал и старался запомнить. Он любил травы, цветы и деревья, знал их названия, знал, когда какое растение цветет и где его искать. Что любил, о том и писал. Когда брался за стилос, видел не только богов и людей. Шумели сосны, роняя опустевшие шишки, цвели анемоны и розы, пахнул душистый чебрец. Белые кисти асфоделей — цветов печали распускались под весенним солнцем на высоких сочно-зеленых стеблях.

В Александрии только в садах были трудно выращиваемые цветы. За городом начиналась песчаная пустыня. О зеленеющих холмах, о дубравах и лугах писал по памяти. Радовался, что после долгих александрийских лет снова все видит воочию. Жадно вглядывался в зеленую гущу. Вот опять сассапарель, и еще, и еще. Цветы у нее мелкие, некрасивые, плоды же будут нарядно-красные. Вот дрок. Жаль, уже отцвел — одни зеленые прутья, а когда цветет, весь в червонном золоте. Вот перистолистная мастика, которую любят щипать козы. Феокрит остановился перед деревцом, отыскал наплыв смолы и, растерев его между пальцами, дал понюхать Миртилле. Она вдохнула душистый воздух и, радостно улыбнувшись, прижалась щекой к руке поэта. Вспомнил о ней, а то уже начала было ревновать любимого к деревьям...

До приморского городка Антандра, в котором Феокрит рассчитывал нанять лодку, было недалеко, но Миртилле не хотелось ночевать в городе. Расположились на сухой лесной опушке среди цветущих олеандров. Ночь

была тихая и жаркая. Мерно шумело недалекое море. На бархатном небе сияла полная луна, окруженная серебристым венцом. Прежде чем заснуть, Феокрит и Миртилла долго лежали на плащах и тихо беседовали о том, как они наладят свою жизнь. Теплый ароматный воздух ласкал спокойные тела. Миртилла чувствовала теперь, что могла бы идти дальше и дальше — хоть до самой Ливии, лишь бы Феокрит был с ней.

Когда кончили о своем, поэт принялся рассказывать миф об Эндимионе.

Богиня луны Селена, влюбленная в прекрасного юношу пастуха, упросила Зевса исполнить любое его желание. Эндимион захотел заснуть навсегда, оставаясь юным и бессмертным. Каждый день, совершая свой путь по небу, Селена входит в грот на горе Латме, близ Милета, где покоится Эндимион и любит красавцем, над которым бессильно время...

Мифа о спящем юноше Феокрит не окончил. Взглянул на Миртиллу. Она тоже спала, и на ее теле, залитом серебристым светом, чуть заметно колебался черный узор теней. Феокрит прикрыл подругу гиматием и снова улегся рядом. Было так тепло, что сам он укрылся только до пояса. В эту спокойную серебристую ночь поэт заснул сразу.

Утром Феокрит и Миртилла оделись, как подобает путникам. Из зеленого царства они возвращались к людям, и приходилось быть как они. Крестьянам и рабам можно и по дорогам ходить полуголыми, господам нельзя.

Люди начали встречаться, как только Феокрит и его подруга вышли на дорогу вдоль морского берега. Адрамитский залив был окутан ранне-утренней дымкой. Жнецы и жницы спешили на работу. Шли босиком в коротких заплатанных хитонах. Сандалии кто нес в руках, кто привязал к поясу. Пока тепло, бедняки их надевают только на колючем жнивье. Под лучами недавно взошедшего солнца поблескивали наточенные косы и серпы. Мужчины равнодушно посматривали на встречных путников — господ. Женщины, особенно молодые, с ног до головы оглядывали Миртиллу, — по-городскому закутанную в длинный гиматий, но загорелую до деревенской черноты. Иные даже оборачивались и смотрели вслед неторопливым путникам.

Дорога шла вдоль прибрежных холмов, поросших не-

проходимой чащей колючего держидерева. Там, где холмы отступали от берега, местами на сухих каменистых лугах цвели темно-лиловые островки шалфея, полные тихого пчелиного гула. Феокрит показал подруге давно уже отцветшие асфодели с длинными узкими листьями, прильнувшими к земле. Еще не засохшие голые стебли были выше человеческого роста, и на них дозревали корбочки семян.

— Вот, Миртилла, если я умру весной, когда цветут асфодели, обязательно...

Она не дала ему окончить, обняла, зажала рот.

— Не смей так говорить, Феокрит, иначе я заплачу.

— Не надо, милая, не надо. Пошутил. Предположим, что я бессмертен, как Эндимион.

Поэт прищурил один глаз.

— Помни, что асфодели могут пригодиться и для живых. Старухи говорят — самое лучшее средство от колдовства.

Миртилла ничего не ответила. Чтобы не сглазили любимого, она в первую же ночь путешествия дождалась, пока Феокрит заснул, и трижды плюнула ему на грудь. Теперь, подумала про себя: надо запомнить об асфоделях. Поэт, опустившись на колени, рассматривал какие-то засохшие листья.

— Миртилла, дай-ка нож! — Принялся копать, вытащил огромную, с кулак величиной, луковицу.

— Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Морской лук. Хорошее лекарство — помнишь, я тебе рассказывал о моем друге, враче Никии? Он у себя в Милете покупал такие луковицы целыми корзинами.

— Ты все знаешь, Феокрит.

— Нет, не все... Всего ни один мудрец не знает, а я только песнопевец.

— Нет, не только. Ты самый умный, самый хороший человек на свете.

— Есть много умнее и много лучше. Сколько угодно есть, только ты их не знаешь.

— Неправда.

— Правда... Я люблю правду, Миртилла. Когда тебе будет больше лет, поймешь, что я не лучше других. Вот мои песни, я думаю, лучше меня.

— Люди говорят, что они никогда не умрут...

— Не знаю, не знаю... Надеюсь, но не уверен. Никто не знает. Но пока не умрут мои писания, и ты не умрешь, Миртилла. Обещаю тебе. Люди когда-нибудь узнают, как я тебя любил.

Он поцеловал ее долгим, задумчивым поцелуем, поднялся с земли, поднял подругу:

— Ну, пойдем, пойдем. Смотри — солнце уже высоко.

Становилось жарко. И Миртилле и Феокриту, успешшим привыкнуть к лесной свободе, хотелось снять гимназии, но нельзя было. Они шли теперь вдоль пшеничных полей, полных жнецов и жниц. Мужчины работали наги. Коричневые, облитые потом тела блестели на солнце. Словно воины, косцы наступали на желтую стену высокой пшеницы. Вслед за ними женщины в разноцветных хитонах и голые мальчишки-подростки быстро вязали снопы и складывали их в суслоны. Укрывшись в тени кустов, молодая флейтистка старательно играла на двойной свирели, увеселяя работающих. Им было не до музыки, но издавна считалось, что она облегчает труд.

Феокрит вспомнил Сицилию. Там тоже хозяева нанимали сельских гетер, умевших играть на флейте, но жатва считалась работой мужчин. Они и косили, и вязали, и ставили суслоны. Справлялись со всем. Женщины оставались дома. Хотя и горожанин, поэт знал и любил сельские работы. Не забывал о них и в песнях. Его Милон поучал товарищей:

После к Борею лицом положите вы срезанный колос  
Иль на Зефир поверните — скорее так зерна созреют.  
Вы, что молотите хлеб, пусть глаза ваши днем не сомкнутся!  
В эти часы от зерна упадет всего легче мякина.  
Жавропок только проснется, жнецы, принимайтесь за дело.

Проходя мимо поля, Феокрит привычным глазом смотрел на суслоны. Уложили, как следует. Здесь, с севера горы, ветры, наверное, больше с моря и с запада. Колосья смотрят им навстречу.

Для Миртиллы все еще было ново. Ребенком и подростком работала на земле, а жатву увидела впервые, гуляя с Феокритом по полям Лампсака. Ни огороднице, ни гетере не было времени ходить в поле. Присматривалась, жалела усталых, залитых потом людей. Особенно женщин было жалко. На афинских огородах так тяжело

не работали. Поливали рано утром и вечером, когда уже нет солнца. Убирали тоже не в жару.

Путники шли не торопясь. Часто останавливались, подолгу беседовали, сидя на траве. Дважды сворачивали к морю и купались. И поэту и его подруге было жаль, что путешествие кончается.

К Антандру подошли незадолго до полудня. У самого города пересекли большое имение пергамского царя. Здесь уже весь хлеб был убран. Шла молотья. На токах истомленные зноем рабы гоняли коней и волов, топтавших разложенные по кругу снопы. В неподвижном воздухе висела густая пыль. На залитых потом, облепленных мякиной телах одежды не было, и все-таки погонщики с трудом дышали. От хождения по току кружилась голова. Седовласый сутулый старик вдруг выпустил вожжи, закачался и свалился на землю. Надсмотрщик подбежал, пихнул упавшего ногой. Старик вскрикнул, но подняться не смог. Его оттащили в тень.

Миртилла молча взглянула на Феокрита. На глазах у нее выступили слезы. Поэт грустно кивнул головой. Он принимал жизнь такой, как она есть. Есть богатые и сильные, есть бедные и обиженные судьбой. Так было, так, видно, и будет... Но бедных он жалел жалостью доброго человека. Не мог равнодушно смотреть ни на усталого старика-рыболова, с трудом несущего тяжелые сети, ни на вечно клянущего свою долю землекопа, «чья рука загрубела от кирки тяжелой». Не раз поминал их в своих песнях. Этот старик, молотильщик, изнемогший от зноя, тоже не забудется...

Феокрит и Миртилла молча шагали по улицам Антандра. Грустно было обоим.

Вот и маленькая гавань маленького города. Здесь никто не знает загорелых путников, но гиматии у них из очень хорошей материи, да и мешков из мягкой дорогой кожи у бедных людей не бывает. Лодочники сразу обступили пришельцев. Наперебой расхваливали свои суденышки. Много плававший по морям Феокрит выбрал неказистую на вид, но надежную и, должно быть, ходкую лодку. Поэту понравился и канат, умело обвитый вокруг высокого резного носа. Опытного моряка можно узнать и по мелочам.

Вдоль северного берега Адрамитского залива шли целый день. Ветер дул с юга — приходилось то лавиро-

вать, то братья за весла. Феокрит, сняв гиматий, помогал грести. Управлять парусом лодочник сначала ему не давал. Боялся, как бы путешественник не опрокинул лодку. Потом, присмотревшись к его ловким, спорым движениям, понял, что ширскоплечий человек с поседшими висками в море не новичок. Стал уступать ему шкот, а сам только поглядывал, не наносит ли лодку на берег.

Миртилла села в нее со страхом. Думала, опять укачает и начнет тошнить, как во время переезда из Афин. Очень не хотела, чтобы увидел Феокрит. Оказалось, что корабль одно, лодка другое. Там при каждом размахе судна тоскливо ныл живот, а лодка легко и быстро переваливалась через мелкие волны, и совсем это было не противно и не страшно. Вспомнились качели в Афинах. Миртилла успокоилась. Порой ее обдавал дождь брызг, блеск моря утомлял глаза, смола испачкала гиматий, но она была довольна. Оказывается, можно путешествовать и по морю... Дышать было легко и, несмотря на очень жаркий день, казалось, что опять наступил весенний месяц элафеболион, когда она впервые встретилась с Феокритом.

Заночевали на мысе Ленг, где берег поворачивает на север. Утром попутный Нот\* быстро понес лодку вдоль берега Трояды. В полдень уже прошли мимо Тенедоса. Поэт снова хотел сойти на берег в Ахейской гавани, которую не удалось осмотреть, когда плыл в Лампсак, и побродить по Троянской равнине, но вспомнил, что там много болот, порождающих лихорадку. Так и не пришлось Феокриту побывать на местах Троянской войны. Утешал себя тем, что от Илиона все равно ничего не осталось, да никто точно и не знает, где же стояла столица Приама.

Лодка вошла в Геллеспонт. У устья Родиуса сделали остановку. Рабы Феокрита были на месте и радостно встретили хозяина. Они послушно исполнили его приказания — пили в меру, ни с кем не подрались и почти весь день валялись голыми на песке. Загорели за шесть дней не хуже самого путешественника-поэта.

Попутный ветер догнал бы лодку до Лампсака еще засветло, но Феокриту хотелось вернуться незамечен-

---

\* Южный ветер.

ным. Путники высадились за мыском, не доходя стадий двадцати до города, и только с наступлением темноты двинулись дальше по дороге вдоль берега. Все же поэт на этот раз рассчитал неудачно. Когда вошли в город, его уже залило серебро рано взошедшей луны. Феокрит и Миртилла шли, закутавшись в гиматии, редкие прохожие не обращали на них внимания, но судьбе было угодно, чтобы их обогнал тот самый башмачник Гедил, который подсмотрел самое начало путешествия. Неграмотный почитатель Феокрита возвращался из харчевни хромого Демода не совсем трезвый, но и не очень пьяный. При лунном свете опознал рабов, которых видел уже не раз. Понял сейчас же, кто такие мужчина и женщина, прикрывшие лица.

Хотя было поздно, но сразу полетела по Лампсаку быстрокрылая весть — Феокрит вернулся. Пришел не с той стороны, куда ушел. Должно быть, откуда-то приплыл.

Миртилла, распрощавшись с Феокритом в своем садике, долго целовала служанку. Заспанная Эвноя при тусклом свете масляной лампы как следует и не рассмотрела госпожу. Поутру даже заплакала — худая-прехудая, глаза ввалились, а ноги, а руки... точно поденщица, от зари до зари работавшая на полях. Что он с ней сделал, этот старик? Замучил да, наверное, и заколдовал. Ни с того, ни с сего разорвала надвое совсем новый шелковый диплодион\*, одну половину спрятала, а из другой наделала лент. Обвязала ими жертвенную масличную ветвь. Как будто шерстью нельзя. А вернулась из храма, еще больше начудила — велела развести в саду костер, да и бросила в огонь самый лучший свой пояс, шитый золотом. Не позволила даже выбрать из пепла блестящие нити. Сама выбросила в помойную яму. А веселая, а поет... Не понять господ, ввек не понять.

Умей Эвноя читать, сообразила бы, в чем дело. На поясе по заказу Миртиллы был вышит в Афинах любившийся ей стих Асклепиада Самосского:

...Люби меня вволю,  
Но не тужи, если мной будет другой обладать.

---

\* Короткая кофта без рукавов.



Дни становились все жарче и жарче. Жарко было и по ночам. Неофрон и Феокрит, как и все почти жители Лампсака, спали в саду.

При лунном свете люди думают иначе, чем днем. Днем все ясно. Днем помещик Неофрон знает твердо, что рожденные быть рабами, рабами и останутся. И, если провинится раб, то философия философией, а следует его высечь розгами или заковать в цепи, или прижечь ему бока раскаленным железом, или даже поднять на дыбу, если провинность тяжелая. Иначе сладу не будет с «телами»\*.

Не сомневается он и в том, что смерть — конец всему. Ни загробной жизни, ни загробных мук. Уничтожение. Вечный, несознаваемый покой. На пирах при свете факелов, как и днем, говорит об этом и твердо верит в то, что говорит. Но когда нет ни дневного света, ни огня, когда миром владеет бледная обманщица Селена, все становится неясным. Вещи теряют цвет, исчезают границы, мысли бродят как заблудившиеся дети. Сомнения, колебания, страх перед непостижимым.

При луне и в саду Неофрона беседы тихие, слова задушевные.

— Вот, дорогой Феокрит, не мое мнение, а то, что говорит учитель... Не может быть, чтобы в бесконечном пространстве в течение бесконечного времени образовался только один мир...

— Мы ничего не знаем о других, Неофрон.

— Мало ли чего мы не знаем. Не знаем, не значит — нет. Подумай только, нет предела бесконечному миру — ни вверх, ни вниз, ни в стороны, и вдруг только на нашей маленькой Земле есть жизнь, а нигде больше ее нет. Почему первичные тельца, случайно сцепившись, образовали только один мир и ничего больше? Почему? Подумай, Феокрит... Ясно, что там, где бесконечно много зачатков и бесконечно много возможностей, там должны были возникнуть и иные бесчисленные миры.

— Бесчисленные?

— Да, Феокрит, бесчисленные. Мы их не знаем и никогда не узнаем, но они есть...

---

\* Древнегреческое наименование рабов.

Друзья замолчали. Спать еще не хотелось. Лежали рядом и смотрели на небо. Месяц был на ущербе и посылал на землю робкий призрачный свет. Горела серебристая Вега. Словно алмаз Птолемея сверкал Сириус. Феокрит отыскивал бледные, как всегда, волосы Береники. Задумался. Он любил и умел видеть конечное, ясное, четкое. Не чувствуемая днем бесконечность ночью становилась страшилищем. Силился представить необъятность пространства и не мог. Пробовал сказать себе, что где-то оно кончается — получалась бессмыслица. Пространство было сильнее ума. От бесконечности тянуло ледяным холодом. Хотелось поскорее вернуться в ограниченный, уютный, привычно мелочный мир, в котором лето, цветы, пастушеские песни, ласковое тепло Миртииллы. Но всякий раз, глядя на звезды, поэт не мог не думать о вечном и внеземном.

В саду Неофрона был полумрак. Деревья стояли черными стенами. Вспыхивали и гасли зеленоватые искорки светляков. На просветах неба летучие мыши носились, словно беспокойные мысли. Приторно пахли лилии.

Неофрон приподнялся, посмотрел на соседа.

— Не спишь, Феокрит?

— Нет еще...

— О чем думаешь?

— Все о том же... ночью ясно, что мы здесь, на земле, словно путники, сбившиеся с дороги. Не знаем, куда идем, и что с нами будет завтра. Часто об этом думаю.

— Ты боишься ночи?

— Не ночи, а мыслей, которые приходят ночью.

— Я тоже, Феокрит... Днем нет времени подумать о том, что наш мир когда-то рухнет, как обветшавший дом, и останутся одни обломки. Нет, даже обломков не останется...

— О чем ты говоришь? О здешнем царстве, что ли?

— Нет, обо всей нашей земле. Стареет она...

— Почему ты так думаешь, Неофрон?

— Будь ты земледельцем, сам бы это почувствовал. Все идет к упадку. Разве теперь земля рождает таких зверей, как раньше?.. Видел вчера кости, которые у меня выкопали на винограднике? Кажется, олень, но нет теперь таких громадных оленей. Все измельчало. Пока земля была молодой, не приходилось ее и пахать. Теперь мы

истомляем на работе быков, истомляем людей, а толку все меньше и меньше. И с виноградниками то же самое, и со скотом. Старее наш мир...

— Эх, Неофрон, Неофрон... Мы с тобой стареем, а не мир.

— Мы быстро, мир медленно, а все-таки он стареет. В конце концов время возьмет его приступом. Все рухнет, как подкопанная стена...

Феокрит не ответил. Спать ему все еще не хотелось, но не хотелось больше и спорить. Торжественно и спокойно текла летняя ночь. С моря по временам тянуло теплой влагой. Мыслей было много, но молчание мешало говорить, и Феокрит притворился спящим. Продолжал думать.

Земля стареет. Неправда, неправда... Кажется, Эпикур в самом деле так учил, но и он не прав. Наслушался, должно быть, тех скупцов-земледельцев, которые ничего не знают и не видят, кроме своих медимнов\*. Поля стареют, если их плохо удобряют, а не вся земля. Как им не стареть, когда люди жадничают. Берут много, дают мало... У хороших хозяев и поля не стареют, и сады растут на радость людям, как росли раньше. Может быть, даже лучше стали, чем в древние времена. Феокрит опять вспомнил свой «Праздник жатвы»; когда писал его, на Косе было позднее лето. Хлеба давно убрали:

Все это летом богатым дышало и осенью пышной.

Падали груши к ногам, и сыпались яблоки щедро

Прямо нам в руки, и гнулся сливняк, отягченный плодами,

Тяжесть не в силах нести и к земле приклоняясь верхушкой.

Поэт закрыл глаза. Так лучше вспоминать. Ночи больше не было. Сверкающий горячий день. Нежный аромат яблок. Не постель Неофрона, а подстилка из свежесрезанного тростника и виноградных листьев. От нее пахнет болотной прелью и раздавленными букашками. Хозяин принес корзину груш, сыр, хлеб и четырехгодовалое вино — душистое, сладкое, ласково пьянящее. Пили чашу за чашей, и Феокриту чудилось, что вот-вот появится сама подательница урожая, плодоносная Деметра. В загорелых полных руках богини пшеничные снопы и связки огненно-красных маков. Богатая

---

\* Мера сыпучих тел.

одежда заткана золотыми колосьями. Подойдет к пирующим и довольно улыбнется, видя, как блаженствуют люди, облагодетельствованные дарами земли.

Нет, нет, не прав Неофрон... И горной весны он, должно быть, давным-давно не видел, а то бы понял, что земля по-прежнему юна. Снова Феокрита охватила тихая радость. Вспомнилась вершина Иды. Внизу знойное лето, трава выгорела, а там весенний цветистый ковер. На каменистых осыпях темно-фиолетовые горечавки, покрытые серым пушком. Прежде чем украсить ими голову, Миртилла, присев на корточки, долго рассматривала никогда ею не виденные цветы.

— Смотри, смотри, Феокрит, на них точно хлена...

Подруга протянула ему короткий пушистый стебелек с двумя колокольчиками-близнецами, а он снова подумал о том, как хорош этот мир, в котором есть такие цветы, и такие глаза, и такие руки — исцарапанные, но милые, ласковые, ее руки...

И вдруг стало страшно. Вспомнил восход солнца, тогда, на вершине священной горы. Миртилла стояла на коленях, залитая багровым светом. Словно на костре горела... Нет, нет... Защитит. Сбережет. От самой судьбы защитит. Да и существует ли судьба?..

Ему снилась золотая, крепко скрученная нить. Тянется, свивается в клубок... Сучат ее тонкие загорелые пальцы. Ее пальцы... ее. Мы сами прядем нити нашей жизни. Каждый свою... Поэт продолжал думать во сне. Но вскоре все исчезло... Уснул, как пастух, исходивший за день много стадий по крутым тропинкам.

Неофрон с завистью прислушивался к его храпу. Недавно еще земледелец, намаявшись с раннего утра, засыпал быстро, но страдная пора кончилась. Неофрон любил поспать под вечер, а настоящий ночной сон потом, случалось, и не приходил. Так было и в эту ночь. Большая Медведица встала на дыбы, близилось утро, а эпикурец все думал и думал.

По-прежнему он доволен и недоволен. В имении все идет хорошо. Пшеницу и ячмень убрали вовремя, хотя и не хватало рабов. Урожай богатый. Из Афин понаехали скупщики и дают хорошую цену. В земле скифов жестокая засуха. Посевы сгорели, и вывозить оттуда нечего. С продажей следует подождать — к осени цены еще поднимутся. Сад оправился после мохнатых червей, и в

густой листве наливаются великое множество зарумянившихся яблок. И масличные рощи обещают такой урожай, что надо заранее прикупить кувшинов для масла. Неофрон подумал было, что Феокрит, пожалуй, прав — земля еще не состарилась. Подумал, но тотчас запретил себе думать дальше. Все, что сказал Эпикур, — истина, сомнения — от нашего невежества.

Скоро конец ночи, а все еще не спится. По привычке думает об урожае, но сейчас эти думы только протока большой реки. Воды мало, и течет она словно нехотя. В большом русле снова мысли о госте, тревожные, сердитые мысли. Миновала большая опасность. Рабы, рассказывавшие в харчевне Стесимброта, о том, как волнуется хозяин, говорили правду. Страшно ему и вспомнить, как это было. Феокрит, собираясь в путь, сказал, что хочет пройтись с Миртиллою по берегу Геллеспонта в сторону Дардана. Дня через два вернется. Время было самое хлопотливое. Неофрон даже обрадовался. Пусть побродит с подругой, раз ему охота. По берегу деревень много — переночевать есть где, да и места там безопасные. Когда прошло три дня, и Феокрит не возвращался, стало страшно. Послал верхового по дороге в Дардан. Тот вернулся ни с чем. Ни в одной из деревень такие путники не ночевали. Никто их не видел и на дороге. Ясно, что Феокрит пошел не туда, куда сказал. Вечером Неофрон разослал рабов по харчевням — там легче всего узнать скрываемое. Один из посланных встретился с башмачником Гедилом. Ремесленник не успел еще как следует напиться и рассказал подробно то, что сумел увидеть.

Ушли в горы... Ушли и не возвращаются. У него, Неофрона, жил знаменитый человек, и, если он погибнет, кто же поверит, что хозяин не знал, куда отправился гость? Феокрит здесь, рядом. Дышет, бормочет во сне. Но, снова переживая те дни, Неофрон потеет от страха. Мог погибнуть, мог... Посылать людей в необитаемые леса Трояды все равно, что искать драхму, упавшую в море. Пришлось ждать. Две ночи почти не спал. Вот-вот узнает — нашли трупы... Вернее всего и трупа не найдут. Не вернется, и никто не узнает, что с ним случилось. Тогда позор, вечный позор... Пройдут сотни лет, а его, Неофрона, все еще будут винить в смерти поэта. Когда поздно вечером запыхавшийся раб, первый увидевший Феокрита на улице, вбежал в комнату и крикнул: «Вернулся!» —

Неофрон почувствовал, что ему нечем дышать. А гость вошел спокойный и веселый. Обнял улыбаясь, попросил прощения.

— Не сердись, друг, не сердись. Знаешь, мне было очень, очень хорошо, и я немного задержался. Скоро ведь старость. Надо торопиться, чтобы было чем вспомнить последние хорошие годы...

Где побывал, не признался.

На следующее утро, пока Феокрит гулял, Неофрон позвал троих его рабов. Бить слуг гостей нельзя. Напоил самым крепким неразведенным вином. Сначала отмалчивались. Потом, перебивая друг друга, рассказали все, что знали. Знали немного, но стало ясно — не путешествие, а безумие. Решил сразу, что второй раз этого не допустит. Теперь, куда ни идет Феокрит, за ним следят соглядатаи — рабы. Им сказано — разболтают, тогда в тюрьму до смерти...

Что-то надо еще сделать, непременно надо. Раз уж Феокрит так любит эту потаскушку, пусть знает, что ради гостя хозяин на все готов. Придется быть с ней поласковее... Неофрон мысленно выругал Миртиллу, как ругают девок пьяные рабы. Выругал, но сейчас же подумал, что, не будь ее, Феокрит давно бы уехал. Нет, без нее не обойтись... Эпикурец вздохнул, полежал еще немного и наконец заснул. Восток светлел. На заднем дворе пели петухи.

Миртилла тоже долго не могла заснуть в эту ночь. В хорошую погоду она всегда укладывалась в саду, хотя побаивалась скорпионов, порой забирававшихся под подушку. Лампсакские скорпионы все же не очень страшны. Миртилла знала, что от их укусов не умирают. Распухнет рука или нога, поболит день-другой и пройдет. Куда страшнее скорпионов были привидения. Выходцев из Аида не видела, но по-прежнему боялась увидеть — особенно старого ростовщика, бывшего владельца дома. В очень темные ночи спала с Эвной под одним одеялом. Если сон и не приходил, все-таки не так страшно.

Дни у Миртиллы бывали то счастливые, то несчастные. Счастливые начинались с появления Феокрита. Он приходил спозаранку, — случалось, что Эвняя не успевала еще комнату прибрать. Приносил то охапку только что срезанных роз, то корзинку ранних яблок, мед, свой любимый сыр. По обыкновению, улыбался, целовал,

обняв сильными загорелыми руками. После любовной игры и завтрака шли купаться. Миртилла храбрилась. Пробовала заплывать подальше, но Феокрит не позволял. Сквозь сверкающие снопы брызг она видела ласково-заботливое лицо поэта. Усталости не было. Хотелось плыть и плыть, а он уже властно напоминал:

— Миртилла, назад, назад!

Лежа на утреннем теплом песке, спорили.

— Чего ты боишься?.. Я же умею теперь плавать.

— Милая, тонут чаще всего те, которые умеют.

— Если суждено потонуть, все равно потону...

— Я не верю в судьбу, Миртилла.

— А я верю...

— Ну, и верь. Но к nereидам я тебя не пушу, девочка моя дорогая.

Она притворно хмурилась, но сама была рада. Ласковый он, заботливый. Послала Афродита счастье...

Снова, взявшись за руки, вбегали в теплую искрящуюся воду. Медленно плыли вдоль невысоких прибрежных скал. Потом опять растягивались на песке. Солнце пекло уже по-дневному. Бежали часы за часами. Дома встречала взволнованная Эвноя. Обед перестоял... Феокрит смеялся:

— Что значит обед по сравнению с морем и тобой, Миртилла...

Прощаться было грустно. Так хотелось, чтобы он остался на ночь, а Феокрит не соглашался. Все боится обидеть этого Неофрона... Не каждый день удавалось видеться и по утрам. У помещика теперь было немало свободного времени. К несчастью, немало... Созывал философов, устраивал прогулки, поездки по Геллеспонту, симпозины на берегу моря. В такие дни Миртилла горевала и плакала. Потом встречала Феокрита с распухшими глазами, без конца обнимала, опять плакала. Поэт утешал, говорил, что надо потерпеть. Все равно скоро уедут — либо в Египет, либо на остров Кос. Тогда навсегда вместе. Миртилла улыбалась сквозь слезы. Обнимала друга. Становилось спокойно и легко.

Но по ночам она тосковала. Чтобы поскорее заснуть, с вечера заставляла Эвною рассказывать деревенские сказки. Страшных не любила — после них не спится. Зато истории любовные слушала бы часами, не будь служанка такой соней. Знала она сказок много, говори-

ла складно, но случилось — начнет и захранит на самом интересном месте. Будить было жалко. Миртилла закрывала глаза, старалась ни о чем не думать, просила бога сна пожалеть ее, а ворота его царства не отворялись чуть не до рассвета.

Хотелось дневных объятий. Миртилла металась, кусала подушку, бессильно плакала. В ту ночь, когда Феокрит и Неофрон беседовали о множестве миров, ей было особенно тяжело. Феокрит не пришел два дня подряд. Ни разу еще этого не случилось. А вдруг он там не один, а с девками?.. Ревность жгла душу, словно кипящее масло. Миртилла была готова тайком пробраться в сад Неофрона, хотя знала, что это невозможно — вокруг всей усадьбы высокая каменная ограда, внутри сторожа, собаки... Рыдала беззвучно, уткнувшись головой в подушку. Не хотела, чтобы услышала Эвноя. Стыдилась своего горя. Сон все же пришел — путанный, тяжелый, грязный, как тина Скамандра.

В ту же ночь кроме Феокрита и Неофрона о Миртилле думали еще двое мужчин.

Херсий лежал дома в своей спальне. Выздоровивал от лихорадки. Она трепала его трое суток. Нестерпимо болел затылок и глаза. На груди точно камень лежал. Молодой философ знал, что от этой болезни не умирают. Три дня промучаешься, а потом она больше никогда не повторяется. Не то, что опасная трясевица, которой болеют в болотистых местах. Та многих уносит в Анд.

Болезнь так же внезапно оставила юношу, как и началась. Жар спал, захотелось есть, но когда Херсий прошлым утром пробовал встать и пройтись по двору, он едва не упал от слабости. Почти весь день проспал. Ночью напала бессонница. Лежал в каморке один. Младший брат ушел спать с родителями в сад, а ему мать не позволила. Херсий смотрел на кусок неба, видневшийся в окошко. Думал не о философии. Снова и снова вспоминал немногие встречи с Миртиллой: пир у Неофрона, чудесный пир трех у нее в саду, два-три свидания. Надеялся тогда, что она согласится стать его подругой. Несколько раз вешал венки на ее калитку. Уговаривал, упрашивал. Слезы текли... К чему ей Феокрит — все равно уедет и с собой не возьмет. Ничего не вышло. Не захотела... Сказала ясно:



— Херсий, ты хороший, но ищи себе другую. Помни, я больше не гетера...

Ну, раз так... больше не приходил. Пробовал забыть, забыть не может, хотя только раз целовал ее тогда, на пиру у Неофрона. Потом не позволяла. Все бы отдал, позволь она прийти ночью, хоть раз, хоть ненадолго. Зачем ей этот старик, зачем, зачем?.. Его стихи прекрасны, но она-то что в них понимает?! А как бы он, Херсий, любил Миртиллу... Юноша беспокожно мечется на постели. Ему обидно. Готов заплакать от досады, от страсти, от жалости к себе, и к ней — упрямой, милой. А голова кружится, хочется пить, и грудь ноет надоедливо, тупо, тоскливо. Заснуть надо, заснуть...

Актера, который когда-то понравился Миртилле на пиру у Неофрона, звали Гиперид. Она давно о нем забыла — мало ли перевидела мужчин с тех пор, как стала гетерой... Забыл о ней и Гиперид. Тогда у Неофрона он не говорил с ней. Только пошутил, встретив на дворе подвыпившую пару — Херсия и Миртиллу. На людях они старались идти чинно, поддерживая друг друга, но актер мысленно сравнил их с кораблем, потерявшим управление, — то в одну сторону несет, то в другую. Сказал:

— Юноша, где же твоя философия?

Херсий посмотрел на Миртиллу и ответил:

— Вот она... Видишь?

Гетера расхохоталась. Зубы у нее были удивительно ровные. Внимательно посмотрела на Гиперида и пошла дальше.

Его родители жили в Лампсаке. Гиперид был членом городского синода\* актеров, но часто ездил в другие полисы один. Из Лампсака отправился на Лемнос, договорился с тамошним синодом и после нескольких удачных представлений уплыл вместе с товарищами в Эпидавр\*\*. Там дела синода тоже пошли удачно. Гиперид был доволен. Нравился прекрасный огромный театр, так удачно расположенный на склоне пологого холма, что даже в последних рядах каждое слово было ясно слышно. Актеры не раз поминали добрым словом его

---

\* Товарищество актеров. В эпоху Феокрита театральные представления устраивались уже и независимо от религиозных праздников.

\*\* Город на северо-восточном берегу Пелопоннеса.

строителя Поликлета Младшего\*. Нравилась и щедрая на одобрения публика, всякий раз заполнявшая амфитеатр снизу доверху. Погода стояла прекрасная. Гиперида и его товарищей то и дело звали на пиры к богатым гражданам.

Но счастье капризно и переменчиво, особенно счастье актера. С Гиперидом тоже приключилась беда. Больше всего он любил играть «Ипполита увенчанного»\*\*. Когда герой, умирая, прощался с Артемидой, многие зрители плакали. Сколько раз уже в разных городах Гиперид произносил:

Волшебное благоуханье! В муках  
Ты льешься в грудь... и будто легче мне...  
Ты здесь со мной, со мною, Артемиде?\*\*\*

Обыкновенно богиню играл совсем молодой актер. Свежий звучный голос отвечал:

— Она с тобой... любимый, бедный друг.

И снова Ипполит-Гиперид спрашивал:

— Владычица, ты видишь Ипполита?

А юноша-актер продолжал утешения богини:

— Из смертных глаз бы слезы полились...

В Эпидавре всегдашний исполнитель роли Артемиды, напившись в жару холодной воды, тяжело заболел. а городской совет непременно хотел видеть «Ипполита увенчанного». Пришлось сделать замену. Роль поручили актеру опытному, но совсем уже не молодому. На репетициях его глуховатый голос раздражал Гиперида, а во время представления богиня, сказав умирающему:

— Но он умрет в лучах моей любви...

— вдруг закашляла старческим неудержимым кашлем. В театре поднялся хохот и свист. Кто-то метко швырнул в Артемиду сырым яйцом, и оно оставило на маске далеко видную желтую кляксу. Хохот и свист еще усилились. Трагедию едва доиграли.

Вернувшись домой, самолюбивый, привыкший к

\* Этот театр сохранился до наших дней.

\*\* Трагедия Эврипида.

\*\*\* Перевод И. Ф. Анненского.

успехам Гиперид не мог успокоиться. Лежал на постели. Проклинал незадачливого товарища, и зрителей, и тот день, когда решил стать актером. Вечером послал за вином. Пьяницей не был, но на этот раз решил напиться. Чашу за чашей пил, как варвар, неразведенное хиосское вино. Душистая сладкая влага понемногу одолевала горечь обиды. Голова начала кружиться. Ложе качалось. Гиперид плыл — куда, сам не знал. С трудом приподнялся. Налил еще чашу. Теперь он лежал на опушке густого леса. Из кустов вышла молодая женщина в высоко подвязанном хитоне, с луком в руках. Охотница наклонилась над Гиперидом. Актер услышал низкий грудной голос:

— Она с тобой... любимый, бедный друг...— хотел ответить и не смог. Черные блестящие глаза богини смотрели ласково и печально. Зубы были удивительно ровные. В волосах блестела золотая бабочка, усыпанная изумрудами. Хитон Артемиды вдруг стал прозрачным. Светло-голубые складки легко струились по загорелому телу. Перед Гиперидом стояла женщина, которую он когда-то и где-то видел. Силился вспомнить, где. Не мог. Захрапел.

Богиня луны ушла навестить навеки усыпленного красавца Эндимиона. Ночь кончилась. Вещи снова обрели цвета и формы. Запели птицы. Люди просыпались, и мысли у них были дневные.

Миртиллу разбудила на рассвете корова, замычавшая на соседском дворе. После ночных горестей подруга Феокрита встала с тяжелой головой. Решила сразу же выкупаться. Не будя Эвной, оделась, отворила калитку. Авось воры не подсматривают... Город еще спал. Теплый неподвижный воздух чуть пахнул смолой кипарисов. Дышалось легко. На берегу Миртиллы, сбросив одежду, села на прохладный песок, охватила руками колени. Задумалась. Сидела долго. На востоке медленно разгорался небесный пожар. Сизо-белесая вода Геллеспонта заблестела, стала розовой. Миртилла хотела подняться и вдруг испуганно вскрикнула. Сильные мужские руки закрыли ей глаза. Через мгновение их узнала. Феокрит поцеловал ее в затылок, обнял.

— Глупышка, не трусь...

И сразу стало легко и радостно.

На ее глазах заблестели радостные слезы.

— Милая, прежде всего я хочу тебе кое-что сообщить.

— Хорошее или плохое? Плохого лучше не надо.

— Хорошее... хорошее... Со мной сейчас говорил Неофрон... насчет тебя...

Они уселись рядом. Феокрит еще одетый, она попржнему нагая. На берегу никого не было. Давно проснувшиеся чайки чертили над головами беседовавших свои крикливые петли.

Неофрон, хотя ночью почти что не спал, проснулся, как всегда, вовремя. Поговорил с рано поднявшимся Феокритом, умылся и пошел отдавать приказания домоправителю. Приготовить на завтра парусную лодку, провизию и вина. Раба, разбившего вечером старинную чашу, нещадно выпороть. Нет, мало — накалить черепицу и прижечь, но только спину... Седалище не трогать, а то слишком долго будет поправляться. Назначить людей для возки навоза. Еврей, который приехал за хлебом, пусть придет через три дня... Раб-домоправитель старался все запомнить.

Херсий проснулся позже. Разбудила мать. Принесла парного молока. Присела на ложе, попробовала лоб. Хорошо... выздоравливает сынок... Только очень уж он грустен. Ну, пройдет, пройдет...

Очень поздно проснулся у себя в Эпидавре актер Гиперид. Когда открыл глаза, на солнечных часах во дворе дома, где он снимал комнату, тень указателя подбиралась к полудню. Голова болела. Язык был не свой. Гиперид чувствовал — если встать, стошнит. Лежал неподвижно. Пьяные видения не забылись. Силился припомнить, кто же эта черноглазая?.. Вспомнил наконец. Гетера, которую приставили к Феокриту. Потом еще шла, обнявшись с этим... как его... молоденький философ... складно говорит... Жаль, пришлось тогда сразу же уехать из Лампсака. Встретиться бы с ней.

## XVII

Когда Неофрон задумал устроить поездку с Феокритом и Миртиллой, он послал раба позвать и гетеру

Гликеру, с которой уже больше года встречался раза два в месяц. Проведя с нею ночь, он затем больше не вспоминал об этой женщине до нового свидания.

Гликера долго обдумывала, как ей одеться. Смущала встреча с Миртиллоу. Та, наверное, будет в белом. Что, если и ей?.. Со злобой подумала о том, как бы начали смеяться подруги и любовники. В Лампсаке ничего в тайне не остается.

Выбрала платье к лицу. Бледно-зеленый хитон струился спокойными складками по полному телу, поверх него набросила светло-розовый длинный гиматий. Завитые волосы стянула розовой же лентой. Сандалии обула простые, из желтой кожи. Перед зеркалом тоже провела много времени — пудрилась, румянилась, подводила глаза, чернила брови. Надушилась пряными, вкрадчивыми духами.

У Неофрона рабы исполнительны. Хозяин строг, и поротые спины заживают не скоро. Большая парусная лодка была готова с раннего утра. Положили в нее две пары весел. Возвращаться предстояло ночью, а летом после заката ветра почти никогда не бывает. Работали всю ночь, боялись опоздать. Рабы-прислужники и гребцы лежали у причала, посматривая, не идет ли хозяин с гостями.

Неофрон, Феокрит и Миртилла ожидали запоздавшую Гликеру в беседке, увитой виноградником, той самой, где хозяин и гость спорили на другой день после памятного пира. С тех пор они часто сживали в ней. Теперь там была зеленая полутьма. Ни один луч не пробивался сквозь густую листву разросшихся лоз, увешанных крупными гроздьями. Виноград еще не созрел, но на солнечной стороне беседки ягоды уже подернулись бледным пурпуром. Наступил разгар лета, когда после полудня и солнцелюбивые ящерики убегают в тень.

Феокрит сам привел подругу в сад Неофрона. Миртилла обрадовалась, когда узнала, что хозяин именина зовет ее. На первый раз не отважилась явиться одна. Побавалась богатого стареющего человека, который, как она знала, гетер недолюбливает.

Неофрон встретил ее приветливо. Хотел угодить другу. С любопытством посмотрел на его возлюбленную. Раз видел ее в домашнем коротком хитоне, когда пришел пригласить на пир. Потом в перистиле при свете

факелов она была нарядно разодетой, сначала трезвой, потом сильно захмелевшей. Осталось в памяти загорелое стройное тело, ясно видимое через прозрачную косскую ткань, иссиня черные волосы и в них золотая бабочка, при каждом движении головы вспыхивавшая изумрудными огоньками.

Молодая женщина, которая вошла в беседку вслед за Феоκριтом, не походила на гетеру. Длинный гиматий с темнокрасной каймой закрывал и затылок. Когда она его сняла и оправила мелкие складки льняного хитона, Неофрон вспомнил одну из своих любимых краснофигурных ваз. На ней вдоль верхнего края шел девичий хор в таких же складчатых высоко подпоясанных хитонах. И впервые эпикуреец заметил, как красив загар Миртиллы. Такая же кожа была у египетских девушек, портретами которых он когда-то любовался в Афинах. Неофрон умел ценить изображения женщин много лучше, чем их самих.

Феокрист посматривал на подругу с любовной гордостью. Отдохнув от частых пиров и бессонных ночей, Миртилла слегка пополнела, и оттого еще красивее стали ее руки, шея и грудь. Движения сделались спокойнее, и не было в ней больше старательной угодливости гетер.

Разговор налачился не сразу. Немного месяцев тому назад любовники Миртиллы ценили ее бойкую речь. С Феокритом она говорила часами и всегда знала, что ответить. В виноградной беседке поначалу робела. Грубостей она никогда не любила, но привыкла к вольной речи гетер. И с Феокритом старалась говорить иначе, а, идя к Нефрону, сказала себе, что нужно следить за каждым словом. И слова были точно пойманные птицы; лететь не могли, пугливо трепыхались, понуро жались к земле. Миртилла отвечала невпопад, краснела, готова была заплакать и уйти.

Неофрон заметил ее смущение. Не будь поэта, и не подумал бы о ней заботиться, но ради друга решил, что гостью нужно ободрить и развлечь. Велел принести вазу, которую накануне купил у старой женщины за две драхмы. Старуха осталась довольна: сбыла ненужную вещь, доставшуюся ей по наследству от давно умершей тетки. Теперь можно купить еще одну овцу. Не знала только, что в таком большом городе, как Лампсак, за эту вазу иной любитель старины отдал бы здорового раба, а то и целую семью.

Домоправитель осторожно поставил на стол красно-фигурную амфору. Феокрит, тоже любивший старинную посуду, с первого взгляда понял, что эпикурейцу удалось раздобыть прекрасную вещь. Редкостно красива была форма сосуда, искусной рукой умельца выписаны фигуры, занимавшие весь верх богато украшенной амфоры. Феокрит и Миртилла принялись рассматривать роспись. Поэту не приходилось раздумывать над тем, что изобразил древний художник. Гибель Трои, последний ее час... Миртилла поняла только, что на вазе что-то страшное. Воин схватил за плечо почтенного старца и занес над ним меч. Старик в ужасе закрыл лицо руками. На коленях у него труп мальчика, покрытый ранами. Рядом кумир богини-воительницы, грозно поднявшей копье. Воин отрывает от статуи почти нагую женщину, охватившую колени богини. С другой стороны умертвляющего старца высокая женщина в хитоне и гиматии с пестом в руках бросается на гоплита, прикрывшегося щитом. Над фигурами полустертые надписи. Миртилла попробовала их прочесть, но не смогла. Неофрон принялся объяснять.

— Вот, смотри, это Неоптолем убивает Приама...

Миртилла понимающе кивнула головой. Имя Неоптолема, сына Ахилла, она услышала впервые, но, кто такой Приам, знала еще со времени бесед с афинским учителем-сводником. Отважилась спросить:

— Кто этот мертвый мальчик?..

— Астианакс, сын Гектора.

— А ребенка за что же?..

— Миртилла, на войне не разбирают, кого и за что. Ты, наверное, знаешь — ахейцы взяли Троию на десятом году осады...

Неофрон сказал «наверное», чтобы еще раз сделать приятное Феокриту. Совсем не был уверен в том, что Миртилла это знает, но она снова кивнула головой.

— Они дрались больше девяти лет, потеряли множество людей, и, когда наконец проникли в город, тут уж кто что хотел, то и делал.

— Но ребенок, Неофрон... — Миртилла уже больше не смущалась. Ее взволновал этот окровавленный детский трупик на коленях Приама. Черные глаза смотрели печально.

— И ребенка и старика... кого попало. Об Астианаксе рассказывают по-разному. Тут, видишь, он истыкан ме-

чом, а другие говорят, что его сначала взяли в плен, но потом решили сбросить с башни.

— Зачем?

— Чтобы он не отомстил за Гектора, когда вырастет.

— Люди прямо хуже зверей.

— Бывает, что и хуже, Миртилла...

Неофрон внимательно посмотрел на взволнованную подругу Феокрита. Не верил раньше, что с ней можно рассуждать всерьез. А Миртилла уже перестала бояться старого сердитого человека. Беседовала с ним так же, как привыкла говорить с Феокритом.

— Скажи, Неофрон, неужели боги не отомстили за убийство Астианакса? Есть же на свете справедливость...

Ответил не сразу. Еще раз всмотрелся в загорелое лицо юной гостьи. Подумал: «Вот она какая... Феокрит, кажется, правду говорит».

Постарался сказать понятнее:

— Справедливости, о которой ты думаешь, не существует. Справедливость заключается в том, чтобы никому не вредить.

Неофрон-эпикурец, когда излагал мысли учителя, начисто забывал о делах Неофрона-помещика.

Миртилла кое-что о них слышала. После раскаленной черепицы провинившиеся рабы, случается, неделями лежат на животах. Сказала, разглядывая амфору:

— А люди только и делают, что вредят друг другу. Вот на этой вазе...

— Да, преступлений много, но ни один преступник не уходит от возмездия.

— Значит, есть справедливость.

— Повторяю, не та, о которой ты думаешь. Наказания избежать можно, а страха наказания нельзя.

— Слишком мало за убийство ребенка. И не в этом дело, Неофрон,— люди боятся богов больше, чем судей и палачей.

— Во вмешательство богов я не верю, но многие еще в него верят, как и ты, а прежде верили почти все. Вот и на этой амфоре изображено начало одной такой сказки. Для художника она, наверное, была правдой — ваза очень старинная. Узнаешь богиню с копьем?

— Афина?

— Да, Афина-Паллада. Женщина, не успевшая



одеться, это Кассандра, дочь царя Приама. Ее считали пророчицей.

— А воин?

— Аянт Локрийский. Он хотел силой оторвать ее от кумира, дернул и опрокинул статую.

— Это же святотатство...

— Да, ахейцы так и считали. Аянта едва не побили камнями, предали суду, но он дал ложную клятву, что не отрывал Кассандру от кумира, и был оправдан. От человеческого возмездия ушел, но ему отомстила богиня.

— Видишь, Неофрон, а ты говорил...

Эпикуреец улыбнулся.

— Не забудь, Миртилла, что я рассказываю сказку. Иногда и сказку интересно вспомнить, особенно когда она так хорошо нарисована. Словом, когда Аянт победителем возвращался в Локриду и огибал Гирейские скалы\*, Афина-Паллада послала страшную бурю. Много ахейцев утонуло, в том числе и Аянт...

Миртилла еще раз посмотрела на полунагую пророчицу у подножья кумира и воина, схватившего ее за руку. Больше не противоречила Неофрону. Знала уже, что он ей ответит, но думала свое: все зависит от богов, и справедливость есть...

Феокрит молча слушал, как подруга спорит с Неофроном. О богах думал, как и эпикурейцы, но был доволен, что Миртилла справилась со страхом. Хорошо, хорошо... Мысли немудреные, но ясные, толковые мысли. Не стыдно за нее. Вспомнил свитки Александрийской библиотеки. Что-то там есть о Приаме и возмездии. Кажется, в одном пеане Пиндара. Да, припомнил. Пусть Миртилла порадует... Тронул эпикурейца за плечо. Улыбнулся.

— Неофрон... еще о вмешательстве богов, в которое не веришь ни ты, ни я... Кто убил Астианакса, на твоей вазе не видно. Труп кем-то умерщвленного внука лежит у царя на коленях. Неоптолема, сына Ахилла, никто в этом убийстве не обвиняет. (Миртилла подумала: «Надо запомнить, что Астианакс — внук Приама, а Неоптолем — сын Ахилла. Запишу потом»). Феокрит продолжал:

— Зато все предания говорят, что старца Приама, хотя он сидел у алтаря Зевса Оградителя, убил именно

---

\* На юго-востоке острова Эвбей.

Неоптолем. Если верить Пиндару, царь перед смертью проклял своего убийцу и пожелал ему не дожить до старости. Аполлон, покровитель троянцев, привел проклятие в исполнение. Неоптолема убили в Дельфах.

Миртилла, старавшаяся не потонуть в потоке мало-знакомых и совсем не знакомых имен, не успела отозваться на пепел Пиндара. В беседку, шурша подолом гиматия, вошла Гликера. Неофрон хмуро посмотрел на зелено-розовую подругу, на ее веер и золотой браслет в виде змеи, обвинявший толстую руку. Ничего не сказал, но гетера почувствовала, что, когда останутся вдвоем, он опять ее выберет. Скажет, чтобы научилась наконец одеваться. На мужчинах были хитоны из грубого серого полотна. Загорелая Миртилла сидела в белом, но рядом с ней на спинке скамьи, лежал серый же дорожный гиматий, отороченный красным. Гликера надулась. Не ходите же ей так, как эта афинская девчонка...

У лампсакского берега вода была чуть тронута рябью. Еле шелестели пинии. Ветра едва хватало, чтобы гнать тяжелую лодку. Когда вышли за мысок, прикрывающий Лампсак со стороны Пропонтиды, подул свежий Эвр\*. Лодка побежала быстрее, легко переваливаясь через мелкие волны. Прошло немного минут, и они покрылись пенными гребнями. Миртилла старалась не думать о качке. Сердце замирало, когда лодка скатывалась с волны, и затем нос снова взметывался, точно доска качелей. Земли не стало видно, кругом, сколько хватал глаз, бежали зеленые волны. Скрипела мачта. Ветер свистел в снастях. Казалось, подуей он еще сильнее, и лодка опрокинется. Но Феокрит беседовал с подругой так же спокойно, как час тому назад в виноградной беседке, и Миртилла старалась ему подражать. Неофрон, сидевший рядом с Гликерой, молчал и хмурился. Гетера все больше и больше бледнела. Стала похожа на нарумяненную покойницу. Хваталась за грудь. Ее жестоко мучило. Знала, что Неофрон брезглив. Если стошнит, он ей не простит испорченной поездки. Но качка начала уменьшаться. Близорукая Гликера ничего не видела, кроме лодки и ближайших волн, а берег Херсонеса Фракийского уж приближался. Зоркие глаза Феокрита и Миртиллы различали даже зубцы на серых башнях небольшого Каллипольского акропо-

---

\* Восточный ветер

ля. На этой стороне ветра было больше, чем в лампсакском затишье, но в маленькую внутреннюю гавань пришлось войти на веслах — она, словно пруд, со всех сторон прикрытый застроенными холмами. Когда сходили на берег, Неофрон оступился и едва не свалился в воду. Суеверная Гликера снова испугалась. Дурная примета, очень дурная... Не удержалась и сказала об этом Неофрону. Эпикуреец негромко, но внятно, обозвал ее дурой.

Рабы остались разгружать лодку. Все нужное для пира им предстояло нести на плечах по плохой дороге к берегу Пропонтиды.

Неофрон и Феокрит медленно поднимались на холм акрополя. Гликера и Миртилла шли в нескольких шагах впереди мужчин. Эпикуреец был недоволен и погодой, и гетерой, и самим собой. Если бы знал, что на середине пролива сегодня такая качка, отложил бы поездку. Если бы раньше видел Гликеру рядом с Миртиллою, не позвал бы ее. Тяжелая, рыхлая, неуклюжая... В гору еле идет, сопит, как старуха. Больше всего был недоволен собой. Давно ли ходил хоть нелегко, но быстро, а теперь что-то случилось с сердцем. Холм совсем не высокий, подъем некрутой, а идти так тяжело. Пот заливает глаза. В груди ноющий камень. Старость... И обидно эпикурейцу: гость — ровесник, а шагает так, точно они идут по берегу Алфея много лет тому назад. Миртилла... Все теперь понятно. Паррасий мог бы писать с нее одну из своих богинь. Прав Феокрит...Неофрону трудно идти. Каждый шаг больно отзывается в сердце. Трудно и думать, но он все-таки думает. Феокрит собирается уезжать. Говорит, что Миртиллу возьмет с собой. Жаль... Останься она здесь, с Гликерой бы порвал, а эту на ее место... Пусть даже ходит в белом, если уже ей так хочется. Но как тяжело дышать... Перед глазами зеленые круги, тошнит, и ноги как будто бы не свои. Никогда еще так не бывало.

Дошли наконец. Крепостная серая стена, ворота, двое воинов в ярко начищенных шлемах. Неофрон остановился в тени. Сделал вид, что рассматривает старинную каменную кладку акрополя. Жадно втягивал воздух. Рад был, что дальше идти по ровному. Осмотрели совсем маленькую городскую площадь, неказистый, пестро раскрашенный храм Зевса с колоннами, выбеленными известкой. Посередине агоры\* стояла статуя Александра

\* Городская площадь.

Македонского. Должно быть, у городского совета не хватило денег, чтобы заказать ее хорошему скульптору.

Бронзовый конь был слишком мал, по сравнению с фигурой царя, а его лицо мало походило на всем известные изображения Александра. Но жители Каллиполя с детства привыкали к малоудачной статуе и любили ее.

Городок был полон кипарисов. Островерхие кроны прорезали зелень маленьких садов, темной стеной окружали с трех сторон приземистое здание городского совета. Горячий воздух пах морем и кипарисовой смолой.

Феокриту хотелось побольше узнать о Каллиполе. Как всегда, он умел видеть и больше и лучше, чем другие. Расспрашивал друга. Неофрон старался внимательно слушать и отвечать, но думал о другом. Зачем только он тратил деньги на Гликеру, когда в Лампсаке была Миртилла и не было Феокрита?..

И город и его окрестности Неофрон знал хорошо. Много раз бывал в Каллиполе по делам. Решил заранее, что обедать будут на берегу заливчика, за мысом, на котором стоит маяк. Невысокие скалы окружают маленький залив с трех сторон. Жители Каллиполя сюда почти не ходят. Лодке и в тихую погоду пристать нелегко. Огромные плоские камни выступают из воды и у самого берега и стадиях в двух от него. Когда ветер с востока разводит в Пропонтиде большую волну, рыбаки, возвращаясь в Каллиполь, и близко не подходят к опасному месту. Но бури в Пропонтиде бывают редко. Обычно на берегу заливчика, укрытого от ветров с суши, так тихо, что дым от костра висит в воздухе, точно крона морской сосны.

Когда четверо путников, осмотрев город, спустились на берег, все уже было приготовлено для необычного обеда. На плоских ноздреватых камнях в тени скал рабы разостлали толстые мягкие кошмы, привезенные из далекой Скифии. Как и дома, положили на них туго набитые полосатые подушки, чтобы возлежащим было о что опереться. Кушанья подогревались на костре. Пирожки, только что вынутый из ульев сотовый мед, корзинки с фруктами, нарезанные хлебы были разложены на куске холста между ложами. Зная, что Феокрит любит овечий сыр, Неофрон велел домоправителю не забыть и его.

Все четверо, как водится, разулись. Миртилла и Гли-

кера остались в хитонах. Мужчины, сняв одежду, завернулись до пояса в гиматии. После переезда через Геллеспонт и ходьбы по каллипольским улицам ели охотно и много. Гликера, страшась полноты, старалась не жадничать, но не смогла справиться с желанием поесть вволю. Одна чуть не наполовину опустошила корзинку с пирожками, начиненными рыбой и яйцами, которые повара Неофрона готовили на удивление вкусно.

Когда рабы расставили чаши и подали вино, Феокрит, прищуриив веселые глаза, обратился к устроителю поездки:

— Друг, я надеюсь, что сегодня твоя речь будет краткой... Алтаря нет и философ только один.

— Ее не будет совсем. Ты сам совершишь возлияние, кому хочешь, и скажешь, что хочешь.

Миртилла просяще посмотрела на поэта. Надеясь, что он опять выберет ее любимый гимн Афродите. Феокрит и сам любил его, но знал, что от частого повторения самые лучшие стихи становятся похожими на стертые монеты. Приняв от раба жертвенную чашу, прочел свои гекзаметры:

С Музами к тем я пойду, кто нас вместе позвать пожелает,  
С вами же я не расстанусь — что может быть людям приятно,  
Если Харит с ними нет? Всегда я с Харитами буду.  
Почтим же, друзья, возлиянием девятерых пнерид!

Миртилла слушала друга рассеянно. Она знала, конечно, кто такие музы, хотя по именам помнила только трех или четырех. Слышала и о том, что этих богинь почему-то зовут пиеридами. Ей самой до них не было дела. Малоли на свете богов и богинь — всем не перемолишься... Когда-то в Афинах недоброй памяти грамматик, отец ее подруги Олимпиады, сказал, правда, Миртилле, что Эрато — муза любовной поэзии, но об этом она давно забыла. Не понравилось, что так дороги Феокриту девять небесных сестер. Почувствовала, что ревнует друга к небожительницам. Выбрала себя за глупость, а трещинка в душе все-таки осталась. Запомнила. Феокрит мой, но, значит, не только мой. Музы...

За вином ни о чем умном не рассуждали. Неофрон постыдился сказать Феокриту, что Гликера не знает грамоты, но поэт быстро понял, что старательно наряженная гетера, кроме своего ремесла, вообще ничего не знает.

Вино делало свое дело. Сумрачный Неофрон и тот на время забыл, где у него сердце. Развеселился. Поддразнивал Гликеру. Спросил Феокрита, не знает ли наизусть что-нибудь из Сотада. Поэт приложил палец к губам. Когда-то в молодые годы на Косе он вместе с Аратом во время пооек с гетерами не раз смешил их непотребными стихами Сотада, но это было давно. Сейчас он даже таким, как Гликера, не стал бы их читать. За Миртиллу готов был обидеться, но эпикуреец уже забыл о своей просьбе. Велел хохочущей Гликере спустить до пояса хитон, который и так уже сполз с одного плеча, обнажив полную грудь. Под конец пира гетера совсем захмелела. Обняв хмурившуюся Миртиллу целовала ее в губы и в грудь. Предлагала дружить, звала к себе в гости. Когда пирующие улеглись отдыхать, она сбросила одежду и, уткнувшись головой в подушку, сразу же громко захрапела.

## XVIII

Проснулись под вечер. От высокого берега почти до самой воды тянулись густые тени. Ветер утих. Пропонтида спокойно сияла. Белели скалы далеких островов.

Чтобы разогнать остатки винного тумана, все четверо выпили немного цельного вина. Неофрон снова повеселел. Предложил выкупаться, но Феокрит отказался. Знал, что Миртилле это будет неприятно. К ней понемногу возвращался молодой стыд.

Друзья заранее условились, что вечер они проведут порознь. Снова встретятся, когда совсем стемнеет. Поднимаясь с земли, Неофрон закусил губу и схватился за сердце. Феокрит поддержал его, хотел снова усадить, но эпикуреец заупрямился.

— Нет, нет... ничего... пройдет, уже прошло...

Не надевая сандалий, пошел вместе с Гликерой вдоль берега по мокрому песку. Перед тем как завернуть за мысок, обернулся и помахал Феокриту рукой. Мелькнула его остроконечная черная борода, и грузная фигура скрылась за выступом скалы.

Феокрит и Миртилла поднялись на обрыв. Поэт повел подругу к недалекому Эгос-Потамосу. Ему хотелось взглянуть на маленькую, но знаменитую речку. У ее устья полтора века тому назад спартанцы разбили афинский

флот. Не торопясь шли по пологим холмам через заросли жестколистных земляничных деревьев, которые тянулись за городом на много стадий. Вечерело, но жара только начинала спадать. Речка, окаймленная густым ивняком, медленно струилась среди широкой долины. Воды в ней было мало. С трудом нашли место поглубже, разделись и ополоснули вспотевшие тела. Потом снова поднялись на невысокий холм. Разостлав гиматии, сели на жесткую, выгоревшую от зноя траву. На том берегу Геллеспонта горы Трояды уже погрузились в тень, начали синеть. Только трехрогая вершина последнего отрога Иды еще розовела, освещенная невидимым солнцем. Над ней виднелось белесое облачко дыма. Теплая сухая земля пахла полынью. Воздух был по-вечернему тих.

Миртилла, расставшись с надоедливой Гликерой, снова повеселела. Так был хорош этот конец знойного дня, беспечальный, душистый и тихий, что не хотелось ни вставать, ни идти. Миртилла разложила пошире гиматий и долго лежала на спине, смотря на медленно потухавшие легкие облака, похожие на розовый пух. И она и Феокрыт молчали. Поэт любовался столько раз виденными, но всегда по-новому прекрасными сменами вечерних красок. Горы Трояды стали темно-синими, начали расплываться во мгле. Над отрогами Иды проступило багровое зарево. На востоке загорались первые еще бледные звезды.

— Феокрыт, я не могу забыть сегодняшнюю вазу. Ты, наверное, что-нибудь сочинил о Трое?

— Нет, милая, ничего. Я тебе много раз говорил о Гомере. Соперничать с ним не могу и не хочу. Лягушке с кузнечиком все равно не сравняться.

— Хороша лягушка... Ты породистый конь, а не лягушка.

— Скорее старый седеющий козел.

Миртилла вскочила и обняла поэта.

— Не смей, Феокрыт, не смей. Рассержусь. Я старых не люблю. Давай не будем говорить о твоих годах. Для меня ты молод.

— Пусть так... Так что ты хочешь?

— Послушать твои стихи... все равно какие... Ты редко мне читаешь. Должно быть, думаешь, что не стоит такой дурочке.

Он ласково шлепнул ее по спине.

— Хочешь, чтобы я лишний раз тебя похвалил?

— Нет, на самом деле, Феокрит. Если и читаешь, то чужие песни, а я хочу твои. Говорят, что у тебя есть об Елене...

Феокрит оживился.

— Да, есть... Вот, представь себе — свадьба Елены с царем Менелаем. Супруги уже в спальне, а в соседнем покое двенадцать девушек поют свадебную песнь. Слушай!... — Голос поэта звучал по-молодому. Он видел Елену, засыпающую в объятиях мужа, пляшущих девушек, которые немало выпили на пиру, ярко горящие факелы в перистиле, убранном гирляндами. Подруги славят красоту новобрачной:

Нас шестьдесят на четыре — мы юная женская поросль, —  
Нет ни одной безупречной меж нас по сравнению с Еленой.  
Словно сияющий лик всемогущей владычицы — ночи,  
Словно приход лучезарной весны, что зиму прогоняет,  
Так же меж всех нас подруг золотая сияла Елена.  
Пышный хлебный урожай — украшение полей плодородных,  
Гордость садов — кипарис, колесниц — фессалийские кони;  
Слава же Лакедемона — с румяною кожей Елена.

Феокрит не раз уже замечал, что Миртилла вздыхает, когда речь заходит о чужой красоте. Чуть слышно вздохнула и теперь, а когда поэт прочел последний стих:

Пусть же, Гимен, Гименей, этот брак тебе будет на радость! —

она вздохнула громче. Опять вспомнила ту ночь, когда стала женщиной, потного старого купца, запах из беззубого рта... Прогнала мысль, от которой хотелось заплакать. Поцеловала Феокрита, положила ему голову на плечо.

Над трехрогой вершиной зарево становилось все ярче и ярче, на склоне горы проступили огненные струйки.

— Смотри, Феокрит, Троя горит!

Он ничего не ответил, только крепко обнял гибкое тело подруги. Оба знали, что на склонах Иды лесорубы выжигают кустарники, но зарево было тревожным, напоминало о том, что в мире кроме их любви есть войны, кровь. Сидели молча. Из-за гор поднялся тонкий серпик молодого месяца. Геллеспонт тускло светился между черными берегами. Пора было возвращаться.

В зарослях земляничных деревьев даже глаза Феокрита едва различили тропинку. Раза три путники



сбивались с дороги. Выбрались наконец на выгоревшие от зноя луга. От земли опять потянуло теплом и запахом полыни. Невидимые колючки больно царапали ноги. Будя злобно лающих псов, Феокрит и Миртилла прошли по безлюдным улицам Каллиполя. Вышли за город. Одинокó пылал маяк, и от него по тускло-серебристой глади Пропонтиды уходил вдаль огненный след.

Миртилле хотелось спать. Опираясь на руку Феокрита, медленно шагала по пустынной дороге. С удовольствием думала о том, что скоро можно будет задремать в лодке. Когда подходили к обрыву, она вдруг остановилась и, прижавшись к поэту, испуганно прошептала:

— Что это?.. Что это?..

Внизу слышались крики. Чей-то женский голос хрипло причитал.

— Феокрит... Что это?..

На спуске сандалии скользят по гладким камням. Сердце Миртиллы колотится. Скорее... скорее. Что там случилось, что?.. Загорелся факел. По берегу мечутся люди. Двое сорвали хитоны, вбегают в воду. Раб с факелом перескакивает с камня на камень. Что-то ищут... Конец спуска. Феокрит и Миртилла бегут бегом. На земле ничком лежит обнаженная женщина. Истошно кричит. Катается по песку.

— Гликера!.. Чего ты?

— У-у-тонул... сейчас утонул...

— Кто?

— Не-не-неофрон... спасите!

Феокрит поднимает рыдающую гетеру, трясет за плечи.

— Покажи, где... живо!

Втроем подбегают к воде.

— Вот там... Он поплыл... вскрикнул... и сразу...—

Опять валится на песок.

Поэт развязывает сандалии, сбрасывает одежду. Миртилла срывает гиматий.

— Я с тобой!

— Не смей... я сам.

Щурясь от яркого света факела, пробирается между камнями. Поплыл. Миртилле страшно. Все равно ведь не поможет, а там, может быть, nereиды. Говорят, не всегда они добрые помощницы людей. Феокрит плывет медленно. Днем видел — камни торчат повсюду. По темной

глади скользят отражения факела. Кроме них не видно ничего. Серебристо-белесая мгла, бледные звезды. Вода ласково-теплая. Голоса на берегу затихли. Только рабы, плывущие поодаль, перекликаются между собой. Поэт знает, что он не поможет и никто не поможет. Сделать ничего нельзя, но нужно что-то делать. Не бросить же... И он плывет в ту сторону, куда показала Гликера. Там горит крупная звезда — ее и сквозь дымку видно. Далеко уже. Сюда не мог заплывать Неофрон, любитель купаться, но слабый пловец. Лодку бы надо — не ту, что осталась в Каллипольской гавани, а легкую, быструю... Но ночью все равно не найти его. Феокрит не хочет себе сказать — до утра не найти трупа. Отгоняет жестокую мысль, но чувствует, что погиб Неофрон. Нет его...

Плывет обратно. В воде темнеет бугор. Большой камень. Вздвигается на него, будоража светящуюся воду. Что-то надо делать... Приложив ладони ко рту, кричит в темноту:

— Неофрон...

Еще раз, еще. Пропонтида молчит. Где-то там, на дне, лежит то, что недавно было Неофроном. Нет его. Не отзовется. Поэт знает, что все кончено, и все-таки кричит:

— Нео-фрон... Нео-фрон...

Сидит на одиноком камне, среди безмолвного моря, вглядывается в темноту, беззвучно плачет.

На берегу кричит Миртилла. Кричит пронзительно:

— Феокрит... Феокрит...

— Здесь... здесь...

Не хочется никуда, даже к любимой. Побывать одному, погоревать...

— Феокрит...

Нет, придется плыть. Поэт соскальзывает с камня. Разлетаются светящиеся брызги.

— Феокрит...

— Да здесь же...

Ноги коснулись дна. Осторожно идет между камнями. Догорающий факел чадит. Миртилла с плачем обнимает поэта.

— Я боялась, что и ты....— Феокрит молча разнимает ее руки. Сейчас ему обидно, что подруга думает о нем, а не о мертвом.

Гликера, уже одетая, то всхлипывает, то начинает тоскливо причитать. Она не любила Неофрона, а все же

жалко того, с кем много раз спала. Жалко и очень страшно — будет теперь мерещиться. И убыток ей большой — когда еще найдет такого любовника?..

На обратном пути все молчали. Только рабы, сгрудившиеся на носу, изредка шептались между собой. Мерно хлюпали весла и постукивали уключины. Гликера по-прежнему всхлипывала и вытирала глаза полой гиматия. Миртилла, опустив палец в воду, смотрела на светящийся бурунчик. Боролась с дремотой. Думала и страшилась своих дум. С тех пор как полюбила Феокрита, не раз заползала в голову злобная мысль. Умирают же люди и по-моложе старого толстого Неофрона. Отчего бы и ему... Тогда все будет по-иному. И вот Неофрон на дне моря, а радости нет. Не смеет радоваться, иначе боги накажут. Феокриту столько же лет... Бойтся об этом думать, но думает. Страшна смерть, страшна... И не такой плохой был Неофрон, как ей казалось. Сегодня так интересно рассказывал. Теперь больше никогда ничего не расскажет. Миртилла почувствовала, что подбородок у нее начинает дрожать. Устала она, очень устала. Скорее бы берег...

Рука Миртиллы по-прежнему в воде. Край гиматия свесился и мокнет. Миртилле все равно. Положила голову на борт. Спит.

Феокрит заботливо посмотрел на нее. Лодка глубокая, не выпадет Миртилла. Только поднял осторожно ее повисшую мокрую руку. Огоньки Лампсака еще далеко. Пусть спит. Лучше так... Снова уселся, как сидел, — неподвижный, словно связанный веревкой тоски. Опять всплыла все та же неистребимая мысль. Из нашего мира Неофрон ушел, но правда ли, что за гробом ничего нет, как он уверял и себя и других. Стикса нет, Харона нет, не нужен покойнику обол, который кладут ему в рот, чтобы мог уплатить за переезд через адскую реку. Все это древние сказки, но душа-то есть, и, кто знает, умирает ли она вместе с телом...

Мерно и часто ударяют весла. Гребцы торопятся. На носу тревожно шепчутся рабы. Господин умер. Каков-то будет новый?.. Что с ним сделает? Страшно им. Жили плохо, но привыкли, а теперь неизвестно, что будет... Уже недалеко от города. Слышен собачий лай. Феокрит больше не думает о душе друга. Надо позаботиться об его доме. Родных никого в Лампсакe нет. Младший

брат живет недалеко, в городке Приапе на берегу Пропонтиды. Неофрон говорил, что у брата оружейная мастерская, и он редко отлучается. Сейчас же надо опечатать спальню погибшего и кладовые, поставить охрану, отправить гонца в Приап, велеть, чтобы к утру были готовы лодки, сети, багры. Узнать, кто из рабов умеет нырять. Если нет своих ныряльщиков, нанять в городе: надо же найти тело... Придется, наверное, всю ночь не спать. Миртиллу отправит домой сразу же с берега со своим надежным рабом. Гликеру проводит раб Неофрона. Что еще? Да, приказать рабам, чтобы никто не смел идти вперед. Много ли нужно времени, чтобы обокрасть...

Всю ночь в усадьбе Неофрона беготня, крики, женский плач. Хоть суровый был хозяин, а новый как бы не был хуже. У Неофрона по крайней мере не голодали, да и не наказывал он зря. Что будет, что будет?.. Плачут рабыни, причитают. Не господина жалеют, а самих себя. Окна светятся, собаки лают, на дворе и в саду переключаются голоса.

Феокрит сделал все, как обдумал, возвращаясь из Каллиполя. Вместе с плачущим домоправителем наложил восковые печати на двери и сундуки. Приставил сторожей. Не любил грозить, но пригрозил. Окажутся печати сломанными — наследник отдаст виновных на пытку.

Свою постель велел перенести в свободную каморку. Поздно ночью прилег отдохнуть. Очутился на берегу Алфея, как много лет тому назад. После купания сидел с Неофроном на цветущем, залитом солнцем лугу. Лиловые заросли шалфея пахли душистым маслом. Стаями вились белые бабочки. Слышал голос нового приятеля:

— Я рад, что с тобой встретился, Феокрит.

— Я тоже рад, Неофрон, и мы еще увидимся с тобой.

— Непременно увидимся.

Пробудился, вспомнил, что Неофрона нет в живых, и снова заплакал. Долго не мог уснуть. Смотрел в темноту, размышлял. Чувствовал ясно, что гибель Неофрона не такое горе, как была когда-то смерть Арата, друга любимейшего, почти что брата... Да и братья не всегда так друг друга любят, как любили они. Но жаль Неофрона, и всегда будет жаль. Снова хорошо подружился с

ним за эти лампсакские месяцы. Жалел, что придется скоро расстаться. И вот смерть оборвала дружбу...

Утром разбудил вой ветра. Выглянул в окно. Солнца не было. С востока неслись низкие серые облака. Вдоль берега Геллеспонта вода была сизо-свинцовая, дальше катились валы с белыми гребешками. Над городом столбами вздымалась желтая пыль. Каллипольского берега совсем не было видно.

Рабы Феокрита, несмотря на приказание, не подняли усталого господина на рассвете. Всем было ясно, что в такую бурю искать тело нельзя. Она бушевала больше суток. Дважды налетала гроза. Ветвистые молнии с надрывным грохотом низвергались на землю. В саду Неофрона вихрь ломал сучья, обрывал почти спелые яблоки. Потом снова вернулась горячая летняя тишь. Солнце быстро высушило размытые дороги и размокшие поля. Обильно политые, посвежевшие цветы давно не пахли так сильно и радостно.

Рабы-садовники ждали приказания взять погребальные венки. Ждали и не дождались. Тело Неофрона искали несколько дней подряд. Брат утонувшего, прискакавший в Лампсак, не жалел ни посулов, ни денег. Нанял десяток лодок, рыбаков с сетями, ныряльщиков. Обещал большую награду тому, кто найдет труп. Если это удастся рабу, сразу же получит свободу. Сам с восхода до заката солнца не уходил с берега залива.

Все было тщетно. Тела так и не нашли. Опытные рыбаки говорили, что буря, должно быть, занесла его в какую-нибудь расселину подводной скалы. Залив мелкий, а волны набегали огромные. Очень давно таких не видели в Каллиполе.

Миртилла была уверена, что купавшегося Неофрона утопили nereиды. Унесли его куда-нибудь далеко в море.

Гликера рассказывала всем, кто хотел ее слушать, как это случилось. Хотевших было много — гибель самого богатого человека в городе была событием, о котором долго не могли забыть жители Лампсака. В nereид она не верила. Просто у Неофрона в тот день очень болело сердце, а он не хотел побережиться, несмотря на ее уговоры. Раз выкупался засветло, потом, когда взошла луна, решил снова освежиться. Не умеющая плавать Гликера плескалась у берега, а Неофрон поплыл, раз вскрикнул и исчез.

Миртилла не спорила. Гликера и днем за десять шагов мало что видит. Где же ей было заметить nereид ночью при совсем тусклом свете луны... Феокриту его подруга тоже ничего не сказала о морских нимфах. Знала теперь, что он не верит ни в богов, ни в полубогов. Только пишет о них, чтобы было занятнее...

Брат Неофрона, прекратив поиски, решил воздвигнуть в саду покойного кенотафий — пустую гробницу из белого мрамора. Когда жрец принесет жертву и трижды назовет имя усопшего, его дух вселится в кенотафий и обретет покой.

Хозяин оружейной мастерской ничего не понимал в братниной философии. Верил попросту, как верили неученые деды и прадеды.

## ХІХ

Феокрит вспомнил о Неофроне с ласковой грустью. Он давно заметил, что эпикуреец был другом рассчетливым. Надеялся, что заодно с поэтом не забудут и его, лампсакского помещика. Поэзию он понимал так же плохо, как и при первой встрече в давно прошедшие времена. Не нравилось Феокриту и то, что Неофрон думал мыслями Эпикура, а поступал совсем иначе. Не проходило дня, чтобы гость не слышал воплей провинившихся рабов, которых истязали на заднем дворе. Случалось, жестоко пороли и рабынь. Феокрит ничего не говорил гостеприимному хозяину об этих криках и столах — жизнь научила обо многом молчать, но он знал не хуже Неофрона, как обращался со своими рабами Эпикур. Одного из них, Миса, обучил философии, относился к нему, как к родному сыну...

И все-таки, хотя и не бескорыстно, но хлопотун Неофрон любил его, Феокрита, а поэт всегда ценил любовь. Самое же главное — не будь приглашения в Лампсак, он бы никогда не встретился с Миртиллой. Как не упомянуть добром Неофрона?.. То же самое думала теперь и Миртилла. Стыдилась своих недавних желаний. Ничего дурного ей не сделал этот человек. Решила узнать, когда он родился. Каждый год будет поминать его жертвоприношением, а придет весенний праздник анфестерий, по афинскому обычаю, приготовит угощение для духа усопшего.

Рабы Феокрита были довольны тем, что он переселился к молодой подруге.

Отпросившись у Феокрита на два дня, они не поленились прошагать двести стадий\* туда, где на границе владений Лампсака и Пария воздвигнут маленький храм Гермеса, бога-пронеры, небесного вестовщика, покровителя торговцев, рабов и воров. С собой несли купленные вскладчину съедобные лепешки. Как было в обычае, сами съели их в честь бога, запив дешевым вином. Просили Гермеса, чтобы надоумил хозяина подольше пожить в Лампсаке.

В доме Неофрона рабов гостя велено было кормить досыта и давать им не «лягушачье» вино, разбавленное втрое, как своим, а цельное, хотя и не крепкое. Феокрит предложил было, чтобы его рабы помогали по хозяйству, но Неофрон не позволил. Пусть обслуживают своего господина, остальное не их забота. Работы у них было немного, а когда Неофрон утонул, началось совсем безделье.

Брат погибшего, вступивший во владение наследством, предложил Феокриту по-прежнему быть гостем в его доме. Поэт поблагодарил и отказался. Раз друга не стало, он не хочет быть в тягость наследнику. Решил, не медля, перейти в домик под тростниковой крышей. Новый хозяин не настаивал. Владелец оружейной мастерской, став помещиком, нашел среди свитков брата неоконченное дополнение к его завещанию. Неофрон хотел что-то оказать знаменитому гостю, но успел только написать: «Моему другу Феокриту, славному поэту, украшению Эллады, завещаю...»

Эти строки, конечно, ни к чему не обязывали наследника. Все же он был очень доволен, когда гость велел своим рабам складывать вещи.

В домике Миртиллы места для рабов не было. Поэт нанял для них каморку по соседству. Каждое утро являлся к Феокриту только раб-брадобрей и, быстро окончив свое дело, уходил обратно. Остальных двух хозяин вызывал только изредка, когда нужно было помочь Миртилле в ее несложном хозяйстве. Она обращалась с рабами ласково, но старалась обходиться без них. Эвния была свой человек, служанка-подруга, а пускать в до-

---

\* Более 36 км.

машнее царство болтливых мужчин Миртилле не хотелось.

Она была счастлива и горда. Ночные мучения кончились. Афродита услышала ее мольбу. Феокрит поселился у нее. После первой же ночи, проведенной с ним в садике, Миртилла разрезала на ленты вторую половину шелкового диплодина, который она, к огорчению Эвной, разодрала надвое, вернувшись с паломничества на Иду. Снова отнесла в дар богине масличную ветвь, обвитую шелком. Хотя это не было в обычае, но Миртилле казалось, что обыкновенная шерсть недостойна ее покровительницы.

Собаки давно подружились с ласковым человеком, который их подкармливал и гладил. Когда-то набрасывались на него с отчаянным лаем. Недовольно ворчали, взъерошив шерсть, когда Миртилла их отгоняла. Потом поняли, что ссориться не стоит. Для них Феокрит стал хозяином, куда-то отлучавшимся на ночь. Когда он возвращался, всякий раз поднимали веселый лай и прыгали вокруг, вертя крючками коротких хвостов. От того что ласковый человек не уходил теперь и на ночь, для собак ничего не изменилось.

Кошка Миртиллы была в затруднении. Раньше, в садовые ночи, когда госпожа и служанка спали рядом под платаном, она укладывалась между ними или залезала под одеяло то к одной, то к другой. Теперь Эвная стала спать одна между кустами гранатов, и в первую ночь кошка не знала, куда же ей идти. По привычке, отправилась на прежнее место, где под одеялом лежали двое людей. Испугалась было незнакомой большой руки, но рука, хотя и не больно, но крепко взяла ее за спину и втянула в теплую темноту. Пришлось лечь и ждать, что будет. Ничего плохого не случилось. Ее гладили две руки — одна большая и тяжелая, другая привычно легкая. Кошка успокоилась и принялась довольно мурлыкать, облизывать шершавым языком голое плечо хозяйки.

Она пришла вовремя. Поэт и его подруга, окончив любовную игру, тихо беседовали о будущем. Вести из Египта все еще не приходили. Феокриту порой бывало то скливо без Александрийской библиотеки, но у него крепла надежда на то, что неосторожный рассказ о волосах Береники на пиру у покойного Неофрона забудется и до



Птолемя не дойдет. Рано или поздно можно будет вернуться. Снова он попадет в прохладные залы, где в ларях хранятся бесчисленные свитки. Сейчас и без них хорошо, так хорошо, как давно не бывало, — пожалуй, с тех пор, когда он на острове Косе любил загорелую пастушку Мирто.

*Зачем думать о будущем, когда прекрасно настоящее...*

В домике под тростниковой крышей в первые дни после переселения Феокрита было недовольно только одно живое существо — Эвноя. Грубить новому хозяину не смела, но посматривала на него исподтишка, дулась, отвечала неохотно.

С госпожой было просто и весело. Вместе смеялись, иногда вместе и плакали. В темные ночи спали в обнимку. Эвноя каждый месяц с нетерпением ждала, когда не станет луны. До рассвета не было тогда ни госпожи, ни служанки. Теперь все кончилось. Ночи стали одинокие, скучные. А все этот старик, о котором нельзя сказать при госпоже, что он старик...

Но Феокрит недаром жил в молодые годы на острове Косе, где девушки издавна сами выбирают себе мужей, гетеры не хотят знаться с мужчинами-грубиянами, и даже рабыни работают, почти не зная побоев. Умел угождать царцам, умел обходиться и с такими, как Эвноя. На хмурое лицо и неохотные ответы не обращал внимания. Был ласков, иногда шутил. И раньше, приходя к Миртилле, давал служанке один-два обола. Прожив в домике с неделю, дал Эвное за хорошо разглаженную одежду серебряную дидрахму. Такого подарка она еще ни разу в жизни не получала. Покраснела от радости, долго благодарила и сказала себе, что старый — человек все-таки неплохой. Сразу стала услужливой и расторопной.

Не была бы Эвноя служанкой, если бы не подслушивала и не подсматривала, что делают господа. Иногда, настоявшись у двери, в которой была удобная щель, она уходила в свою каморку, валилась на кровать и долго не могла успокоиться. Сердце колотилось, щеки горели, хотелось поскорее замуж...

Хозяйские разговоры не все понимала. Слова эллинские, а что они значат, не разберешь, особенно, когда говорит старый. Иногда он что-то читал госпоже. Эвноя обыкновенно тотчас же отходила от двери. Совсем ниче-

го не понимала в стихах. Раз только не ушла — очень интересная сказка, и все понятно. По другую сторону двери Миртиллы, как всегда, внимательно слушала Феокрита:

— «Бисалты предприняли поход против Кардии и победили. Предводителем бисалтов был Нарид. Он еще ребенком был продан в Кардию и, попав в рабство к одному жителю Кардии, сделался цирюльником. У жителей Кардии было предсказание, что бисалты придут войной на них, и часто об этом разговаривали они, сидя в цирюльне. И он, убежав из Кардии на свою родину, повел бисалтов против кардианов, будучи избран бисалтами в предводители. А кардианы все выучили лошадей плясать на пирах под звуки флейты; и они, становясь на задние ноги, передними делали мимические движения в такт мелодий, которые они знали. Так вот Нарид, зная это, купил флейтистку из Кардии, и флейтистка, придя к бисалтам, научила многих флейтистов; с ними он и пошел походом на Кардию. И когда сражение началось, он приказал играть те мелодии, которые знали лошади кардианов; и когда лошади слышали звуки флейты, они встали на задние ноги и пустились в пляску. А сила кардианов состояла в коннице; и таким образом они были побеждены».

Ни Миртилла, ни Феокрит не услышали, что за дверью кто-то хихикнул. Миртилла сама расхохоталась и, прыгнув на колени к поэту, принялась его целовать. Очень ей понравились лошадиные танцы и это удивительное сражение.

Насмеявшись и нацеловавшись, спросила:

— Милый, кто сочинил эту чепуху?

— Совсем не чепуха, Миртилла; очень серьезная книга...

Она снова рассмеялась.

— Если это серьезная, скажи, что же умные люди считают не серьезным?

Феокрит улыбнулся и еще раз поцеловал теплое плечо подруги.

— Видишь, моя хорошая, книга старинная, а раньше даже умные люди были более легковверны, чем мы с тобой. Я прочел тебе отрывок из «Летописи Лампсака». Ее составил лет двести тому назад здешний гражданин Харон.

— Почитай еще...

— Сейчас у меня только этот рассказ. Нарочно взял для тебя у Идоменея. Знаешь его?

— Нет... Кто это?

— Один ученый старичок. Мы недавно с ним познакомились. Он нашел «Летопись» в городском архиве и кое-что списал.

— Попроси у него, Феокрит. Знаешь, интересно, раз это здешнее. Кардия ведь совсем близко?..

— Да, на той стороне, в самом узком месте Херсонеса. Хорошо, попрошу... Надеюсь, даст — он сам хотел встретиться со мной еще раз.

Эвноя уже давно была у себя в каморке. Она подслушивала только интересное. Миртилла продолжала сидеть на коленях Феокрита, прижавшись к его широкой груди. Иногда она чувствовала себя девочкой, которая нашла наконец защитника и теперь не боится ничьих обид. Поэт молча гладил растрепанные волосы любимой. На душе у него была радостная жалость — и к подруге и к себе. Вот сидит она, все еще юная, цветущая в своем домашнем коротком хитоне с полуоткрытой грудью. Загорелые руки пахнут садовой землей и мятой. Хотела вымыться после возни с цветами, да решила, что пока не стоит. Послушает чтение, а потом опять в сад. Маленькие ступни в серой пыли, в волосах сухие стебельки, но такую, как она сейчас, — милую, домашнюю, всего больше любит Феокрит.

Миртилла вздохнула.

— О чем ты, дорогая?

— Все о том же... Скоро мы уедем?

— Разве тебе плохо здесь?

— Хорошо... но я хочу быть твоей, только твоей, а в Лампсаке слишком много воспоминаний. Ты знаешь, о чем...

— Потерпи, родная, потерпи... Если ты меня не бросишь...

— Феокрит...

— Если ты меня не бросишь, мы будем вместе, пока я не умру.

— Умрешь ты, умру и я...

— Глупости, Миртилла, ты будешь нянчить моих внуков... — Он провел тяжелой рукой по ее задрожавшей спине и замолчал. Подумал умиленно: «А ведь может

быть так... Настоящая старость скоро придет, но еще не пришла... Дети у нас будут... Внуков вряд ли увижу, а она может дожить и до правнуков».

Феокриту стало грустно, но грусть была светлая. Спасибо судьбе за то, что он встретил Миртиллу такой, как она сейчас, а лет через пятьдесят какие-то люди увидят бойкую сухопарую старушку. Бабушка будет добрая, смешливая, охотница поговорить. Это не скоро — олимпиад через двенадцать, а пока вот она, его черноглазая радость... Огорчил ее, бедную. Глаза затоплены молчаливыми слезами, губы вздрагивают. Феокрит целует и глаза и губы, и волосы. Уговаривает не плакать. Никто не знает, что будет завтра, но будем надеяться на хорошее. Поэт целует маленькое ухо и шепчет:

— ...В жизни надежда не гаснет, одни мертвецы — без надежды.

В комнате Миртиллы сладко и радостно пахнет яблоками. Она любит их. Самые душистые положила в лари с платьем. Большой ящик стоит в углу. В кладовой тоже полно яблок — желтых, розовощеких, рассыпчатых. Ближится к концу знойный месяц карней\*, сухой, удушливо-тихий месяц позднего лета, когда днем тяжело дышать, а по ночам любовные сны томят и молодых и старцев.

Пока любовь счастлива, молодые любят, о ней не раздумывая. У Феокрита давно прошла не только молодость, но и расцвет жизни, его акмэ — сорок лет. Он был счастлив, но часто и подолгу думал о своем счастье.

Издавна люди знали Афродиту в двух образах. Одна была земная, всем доступная, зажигающая огнем вожделения готовые слиться тела. Феокрит тоже знал ее с ранней юности. Видел воочию, что Афродита земная владеет всем, что живет: и цикадой, и соколом, и козами, и людьми.

Поэт не забывал и сына Афродиты от Диониса, не знающего стыда Приапа, бога плодородия, чьи статуи стоят в садах и виноградниках. Но он любил и другой образ богини любви. Афродита-пандемос всегда на земле, и дела ее земные. Та же, другая, обитает в ином мире и внушает иную любовь. О ней Феокрит думал, вспоминая счастливых супругов Амфикла и Хрисогону:

---

\* Июль-август.

Это не плотской Киприды кумир. У богини небесной  
Должен ты милость снискать, дар Хрисогоны благой.  
В доме с Амфиклом совместно она свою жизнь проводила,  
С ним же рождала детей. Жизнь их прекрасно текла.  
Все начинали с молитвой к тебе, о могучая!..

Пока был молод, мало заботился о том, чтобы заслужить милость Афродиты небесной. Были у него на острове Косе веселые и умные друзья: Арат, изучавший и астрономию, и философию, и аристотелевскую поэтику, Никий, готовившийся стать врачом. Были и друзья не столь умные, но тоже веселые. Одни любили косских гетер. Ночи простаивали у запертых ворот упрямых престлестниц, целовали косяки, вешали на них венки из роз, укропа и белых фиалок. Случалось, невидимая рука открывала в конце концов замок, и счастливец с бьющимся сердцем входил в желанную дверь. Бывало и так, что только ранний петух прогонял его домой, усталого и продрогшего, а на следующую ночь он снова изнурял себя стоянием у тех же ворот. Другие любили покорных и милых рабынь, пастушек, готовых забраться в кусты ежевики, пока козы отдыхают в тени, или деревенских флейтисток, игравших на свадьбах и на похоронах. Все изведаль Феокрит — любил и гетер, и рабынь, и пастушек — тоже рабынь, но привыкших быть подальше от господ. Потом приятели поэта остепенелись. Женился по любви Никий, уехавший в Милет, и его счастье оказалось прочным, как мрамор Пароса. Переехал с Коса ко двору македонского царя и там принялся сочинять астрономическую поэму Арат, раньше влюблявшийся в юношей. Также обзавелся семьей.

Захотелось угомониться Феокриту. Обращаясь к Арату, «другу наилучшему», писал:

С нами ж да будет покой, и пусть знахарка-старуха,  
Плюнувши, впредь заклянет навсегда нас от бедствий подобных.

Покой не дался поэту, скитавшемуся по ойкумене. Женился, но неудачно. Скоро опять очутился один, и снова им овладела Афродита-пандемос, богиня земная и всем доступная. А годы шли, и чем дальше, тем сильнее хотелось заслужить милость Афродиты небесной.

И вот пришла последняя любовь. Феокрит знал, что она последняя. Если не будет прочного счастья с Мир-

тиллоу, новой милости небесной покровительницы любящих ему не заслужить. Иногда сам над собой подсмеивался. Покровительница любящих... Ведь не верит он ни в Афродиту, ни в других богов. Нет их... Мир сам по себе, и любовь сама по себе. Пусть Миртилла молится своей богине и приносит ей жертвы, а его боги живут только в песнях. Но жаль, что их нет... Было бы в мире еще радостнее и теплее. И он, Феокрит, денно и ночью благодарил бы небожителей за то, что они послали ему Миртилле, радость его жизни, которая, быть может, скоро кончится.

О том, кем была подруга совсем недавно, старался не думать. Была, но больше не будет. Сама рассказала ему, что бросила в огонь любимый пояс со стихом Асклепиада Самосского:

...Люби меня вволю.

Но не тужи, если мной будет другой обладать.

Иногда одолевали сомнения. Сможет ли она, любившая вволю многих молодых, стать верной женой его, почти старика? Хочет, искренне хочет. Вот и ласки ее становятся все скромнее. Феокрит перебирал в памяти счастливые супружества с такими, как Миртилла. Знал их несколько. Были и несчастные — о них думать не хотелось.

Снова и снова возвращалась прежняя мысль. Пусть бы смерть пришла вовремя, пока он еще силен и здоров. Хочется жить, как живут молодые, но ненадолго это... Будет тяжело умирать, оставляя молодую вдову, но еще тяжелее жить хилым стариком, когда любимой жене еще далеко до старости. Но не любить Миртилле он не может. Никакие лекарства не вылечат от этой любви — даже песни, даже помощь муз.

Миртилла не знала разницы между Афродитой земной и небесной. Она попросту любила богиню, помогавшую и влюбленным, и любящим супругам, и женщинам, жившим продажей любви. Очень обрадовалась, когда узнала, что здесь, в Лампсаке, по преданию, богиня сама полюбила Диониса и родила от него сына, Приапа. Оттого так и чтут в Лампсаке этого бога, и оттого его именем назван недалекий городок.

Феокрит никогда не говорил с Миртиллоу о том недавнем времени, когда она была гетерой. Она старалась

теперь быть молодой женой, а не искусницей, все умевшей и ко всему привычной. Чувствовала, что так лучше... Иногда ей даже чудилось, что ничего не было — ни учителя-сводника, ни первой ночи со старым афинским купцом, ни многих и многих любовников... Когда пришло время, принесла в жертву Артемиде пару белых голубей и вышла замуж за этого сильного, умного, ласкового человека.

Но это казалось ей в хорошие ночи, а бывали и неспокойные, утомительно-душные, когда и душой и телом овладевал бесстыдный бог Приап.

## XX

У Эвной вдруг заболели глаза, потом ее начало лихорадить, а поутру служанка не смогла подняться. Кто раньше так не болел, переехав в Лампсак, почти всегда заболел в первое же лето. Миртилла, как и другие, знала давно, что эта лихорадка не опасна. Сама переболела ею еще в Афинах. Успокоила хныкающую Эвную, помогла ей дойти до каморки, дала лекарство, положила на горячий лоб мокрую тряпку.

Было еще очень рано. Феокрит не проснулся, когда Миртилла осторожно выбралась из-под одеяла, услышав в кустах стоны служанки. В знойную сушь горные родники почти пересыхали. В многочисленных городских фонтанах не хватало воды. Эвная каждое утро час-другой стояла в очереди. Миртилла не захотела звать рабов. Решила сходить за водой сама. Не прочь была и поговорить с молодыми соседками — старухи к фонтану не ходили. Теперь, когда она больше не принимала поклонников и жила с человеком, у которого было трое рабов, с ней говорили с уважением. Не каждая сумеет так устроить свою судьбу. Соседки были только недовольны тем, что Миртилле никак не удастся зазвать в гости. И сама не ходит, и никого к себе не приглашает. Обижаться все же не обижались. Думали, что ей запрещает Феокрит. Пробовали спрашивать, так ли, но Миртилла улыбалась и ничего не отвечала. Пусть думают, что хотят. Поэт не раз предлагал ей звать, кого хочет, но она сама не желала. Будут ходить с утра до вечера... Лучше вдвоем.

Когда встречалась с соседками, была приветлива. Старалась поменьше от них отличаться. Было у женщин

в обычае, выходя в город, даже в жару, окутывать затылок гиматием. Некоторые еще надевали поверх его маленькую островерхую шляпку. Миртилла шляпок не носила, но затылок закрывала старательно, хотя, любя солнце, с удовольствием ходила бы простоволосая. За водой в жаркую пору соседки отправлялись по-домашнему — в одних хитонах и босиком. Так же пошла и Миртилла, только хитон, как и другие, надела подлиннее, из плотной материи и с прорезями для обеих рук. Кувшин для воды — гидрию несла на голове. Пришлось несколько раз объяснять, почему же она не послала служанку.

Тонкая струя, вытекавшая из мраморной львиной пасти, медленно наполняла выстроившиеся в ряд гидрии. На платане проснулась цикада и начала свою звнящую песню. Миртилла присела на плоский камень и, обхватив загорелыми руками колени, терпеливо ждала своей очереди.

Появились прохожие. Прошел писец городского совета, двое безоружных воинов, слепой старик с мальчиком-поводырем. Неторопливыми легкими шагами шел высокий юноша-охотник. Короткий темно-синий плащ, застегнутый на правом плече, был накинута на голое тело. Длинные черные волосы выбились из-под маленькой войлочной шляпы. Высокие шнурованные сапоги плотно облегли стройные ноги. На боку у юноши висел колчан, полный стрел. Лук он нес в руке. Две тонкомордые поджарые собаки трусили за ним, оставляя глубокие следы на дорожной пыли.

Миртилла сидела спиной к охотнику. Обернулась, когда одна из женщин, стоявших в очереди, сказала вполголоса:

— Смотри, какой красавец...

К фонтану приближался Херсий. Он совсем поправился после лихорадки. Румянец вернулся, вернулся и блеск больших внимательных глаз. Миртилла хотела отвернуться и не отвернулась. Херсий обиженно поджал губы, решил было обойти стороной и раздумал. Медленно прошел вдоль очереди, мельком взглянул на загорелую женщину, сидевшую на камне. Молча поправил распахнувшийся плащ. Пошел дальше.

— Правда, хорош? Ноги-то какие...

Соседка ждала, что скажет Миртилла, но та ничего



не ответила. Торопливо поднялась и стала в очередь. Впереди ее кувшина остался только один пустой.

Ночью Феокрит проснулся от громкого сонного шепота:

— Херсий, что тебе нужно... Оставь меня, Херсий...

Охотник опять шел мимо фонтана, высокий, загорелый, почти нагой. Ветер распахнул короткий плащ. Миртилла увидела широкую грудь и все тело юноши. Блаженный огонь охватил ее в одно мгновение. Загорелась, как полный маслом жертвенный костер, подожженный храмовым служителем. Юноша, сбросив плащ, обнял ее горячее тело властными ищущими руками. Миртилла отбивалась, вскрикнула и проснулась.

Поутру Феокрит пытливо посмотрел на утомленное лицо подруги. Ее губы припухли. Под глазами лежали густые тени.

— Милая, тебе нездоровится?

— Нет, нет... что ты... у меня ничего не болит.— Ответила торопливо, покраснела. Стыдилась своего сна.

Поэту стало грустно. Впервые почувствовал, что подруга что-то от него скрывает. Вспомнил ночной шепот. Херсий... Расспрашивать не стал. Мало ли что и кто снится молодым в те недели, когда знойный карней сушит источники, а чуть стемнеет — на склонах гор появляются огненные змейки, истребительницы кустарников.

Весь день Миртилла старалась не думать о вчерашней встрече, но мысли ее не слушались. Стоило остаться одной, и снова она видела неторопливо шагающего полунагого юношу в маленькой шляпе с колчаном через плечо. Мучило Миртиллу воспоминание о стройных ногах охотника. Она пробовала перечитывать свитки Феокрита, но ничего не могла разобрать. Ряды букв не распадались на слова\*, тянулись непонятными вереницами, рябили в глазах. Как всегда, была ласкова и нежна с другом, но несколько раз отвечала невпопад, и поэт понял, что она думает не о том, что говорит. Когда, побеседовав после прогулки и позднего ужина, они, как обычно, улеглись спать под платаном, Феокрит удивился. Ласки Миртиллы снова стали бесстыдно-настойчивыми ласками гетеры. В эту ночь она была ненасытна. Истомила и его и себя. Заснули после полуночи. Миртилла сразу

---

\* Древние греки писали, не разделяя слов.

провалилась в черную пустоту, и ничья тень не тревожила ее до пробуждения.

Любила порой поспать подольше, но на рассвете ее разбудил пронзительный крик сыча. В саду был серый полумрак. Дневные птицы еще молчали. Миртилла почувствовала, что больше не уснет. Всегда ей становилось жутко от надрывных совиных выкриков. Подождала, пока сыч замолчал. Осторожно выбралась из-под одеяла, протерла глаза и, как была нагая, уселась на жесткую траву рядом со спящим. Феокрит негромко похрапывал, полуоткрыв рот. Становилось светлее. В кустах гранатов начала чирикать одинокая пичужка. Миртилла всмотрелась в лицо друга и вздрогнула. На земле спал усталый старик. Глаза запали, щеки осунулись. При бледном полусвете раннего утра кожа казалась серой, и на ней виднелись морщинки и там, где Миртилла раньше их не замечала. Взглянула на волосы. Всегда ей казалось, что только виски у любимого немного поседели. Впервые заметила, что седых волос много по всей голове. И загорелая шея — стариковская, со складками отвислой кожи и большим некрасивым кадыком. Миртилла медленно прошептала:

— Старик... правду говорил, что старик... — упала на землю и долго плакала, прикрыв рот ладонью.

Потом ушла в комнату, вымыла лицо холодной водой. Вернулась в сад. Феокрит еще спал. Стараясь снова не заплакать, медленно приподняла одеяло и вползла на свое место. В это утро утомленный поэт долго не просыпался. Когда он зашевелился, Миртилла закрыла глаза и притворилась спящей. Хотела, чтобы Феокрит ничего не заметил. Все было, как каждое утро — пробудилась позже его, улыбнулась, не торопясь надела хитон. Хитрость не удалась — он сразу увидел, что подруга успела поплакать. Спросил, почему. Миртилла не приготовила ответа. Губы опять задрожали.

— Я видела страшный сон...

— Не верь снам, Миртилла. Мне раз приснилось после пира, что я проглотил живую лягушку.

Она хотела улыбнуться и не смогла. Опустила голову. Заплетенные на ночь косы упали на грудь. Из глаз поползли слезы.

— Ты шутишь, а мне страшно...

— Милая, что с тобой? Говорю тебе — не верь.

— Мне снилось, что тебя нет...

— Уехал? Не бойся — без Миртилла никуда не уеду.

— Нет, не уехал... умер... — сказала неправду и испугалась своих слов. Опять, как и на рассвете, повалилась на траву, но рыданий не скрывала. Феокрит грустно гладил ее вздрагивающую спину. Было ему ясно, что в душе подруги нет больше спокойной радости. Не та стала Миртилла. Но не любить ее он не может.

После завтрака Феокрит и Миртилла пошли купаться. Утро было тихое и знойное. В прозрачной воде там и сям плавали живые студенистые зонтики. На них любопытно смотреть, но нельзя прикасаться, — обжигают, и потом долго чешется покрасневшая кожа. Миртилла, войдя в воду по колени, заметила странное существо и долго следила за тем, как сжимается и разжимается его прозрачный зонтик, отороченный нежной бахромкой. Высоко поднявшееся солнце весело жгло тело. Оглянулась на Феокрита. Поэт стоял за ней, широкоплечий, сильный, с веселой улыбкой на добром лице. Загорелая упругая кожа блестела, как у юноши, вернувшегося с палестры. Миртилла взяла его за руку и они побежали на глубину, поднимая шумные фонтаны брызг.

Купались долго, долго лежали на берегу в тени морской сосны, прислушиваясь к шороху ее ветвей. С Пропонтиды подул легкий ветер, и по воде пошла морщинистая зыбь. Миртилла, раскинув руки, смотрела, как плывут по небу легкие полупрозрачные облака. Снова подумала о том, что счастье нужно беречь...

Ночью она крепко спала, обняв Феокрита. Юноша-охотник не пришел.

Через несколько дней Миртилла, надев старый заштопанный хитон и повязав волосы синим платком, принялась вместе с выздоровевшей Эвной убирать созревшие яблоки с дерева, которое она особенно любила. Старая, но еще не одряхлевшая яблоня росла у самой ограды и, не будь высокой стены, утыканной сверху острыми обломками морских раковин, мальчишки давно бы ее обобрали. Повесив корзинку на сук, Миртилла понемногу обрывала крупные душистые плоды. Старалась, чтобы ни одно яблоко не упало на землю — иначе быстро загниет. Осторожно переступала босыми ногами по шер-

шавым сучьям, подбираясь все ближе к верхушке. Было душно. Хитон промок от пота. Миртилле хотелось совсем снять одежду, но с другой стороны улицы ее могли увидеть. Прохожих было мало. Старуха в синем выгоревшем плаще вела под уздцы осла. Две больших вязанки хвороста скрывали всю спину животного, и сверху казалось, что хворост сам собою движется по дороге вслед за серой ушастой головой. Заглядевшись на осла, Миртилла сначала не заметила пешехода, появившегося из-за угла. Это был Херсий, на этот раз одетый по-городскому — в белом хитоне и гиматии. Он шел не спеша, изредка поглядывая на ограду знакомого сада. Миртилла прильнула к стволу яблони. Сердце у нее заколотилось. Юноша уже прошел мимо дерева, когда Миртилла бросила ему в спину яблоко, которое держала в руках. Сама потом не могла понять, как же это случилось... Бросила и, опомнившись, хотела как можно скорее соскользнуть с яблони. Ей бы это, вероятно, удалось, не будь сучка, за который зацепился хитон. Херсий, почувствовав удар и увидев катящееся яблоко, бросился его поднимать и только после этого оглянулся. Миртилла в это мгновение освободила хитон и соскочила на нижнюю ветвь, но Херсий успел ее увидеть.

Юноша стоял среди улицы и не знал, что же ему делать. Подошел к калитке, несмело взялся за железное кольцо, попробовал повернуть. Калитка была заперта. Хотел постучать железкой, чтобы вышла, как бывало, служанка, не решился. Знал, что Феокрит переселился к Миртилле. Нельзя... Осмотрел яблоко — нет ли на нем надписи. Нет, обыкновенное яблоко. А все-таки ведь бросила... Каждый эллин знает, что яблоко бросают тем, кого любят. Яблоко надежды... Юный философ поцеловал его и положил за пазуху. Небо вдруг стало выше, солнце ярче и за серой стеной из дикого камня чудились Елисейские поля.

Миртилла весь день чувствовала себя напроказившей девчонкой, которую мать вот-вот выдерет за косы. Что она сделала?.. Что подумает Херсий? Совсем же она его не любит. Хоть бы молчал, а то, если узнает Феокрит... Миртилла дала себе слово больше не думать о юноше, но ночью его тень снова пришла, и опять подруга поэта пробудилась поутру с запекшимися губами и синими кругами вокруг ввалившихся глаз.

Почти каждое утро Миртилла вместе с Эвноей отправлялась на главный рынок. Привыкнув с детства к афинской веселой толчее, она любила побродить среди покупателей, поторговаться, послушать городские новости на террасах Аполлонова храма. Подругу приезжего поэта и на рынке знали многие. В Лампсаке считали, что ради нее Феокрит не уезжает домой в Египет.

Юная женщина в белом, всегда хорошо разглаженном хитоне и таком же гиматии ничем теперь не отличалась от молодых супружниц почтенных граждан. Гетеры ее избегали, хотя Миртилла по-прежнему была ласкова с былыми приятельницами.

В эти утренние часы Феокрит развешивал дома свитки и вынимал из ящичка стилос. Пока гостил у Неофрона, много раз принимался писать, но ни одной песни не мог окончить. Божественные сестры Эвтерпа и Полигимния\* редко посещали поэта. Должно быть, не нравился им богатый дом, где часто стонали под розгами рабы и рабыни. В домик Миртиллы они зачастили. Приходили втроем — вместе с Эрато. В иные дни случалось, что муза любви являлась печальной, с поникшей головой и в серой одежде, но поцелуи Эвтерпы и Полигимнии прогоняли ее понурые мысли, и в глазах богини снова загорался радостный огонь. Она приближалась к поэту и строка за строкой диктовала песню о любимой. Феокрит пока прятал ее от Миртиллы. Решил, что прочтет ей только тогда, когда стихи заблестят, как полированный мрамор. Писал медленно. Словно искусный резчик, обрабатывал неподатливый камень слов. Бывал рад, когда Миртилла не торопилась возвращаться домой.

Случалось, что, кончив рыночные покупки, она отсылала Эвною, а сама шла на берег. Феокриту дала слово, что не будет заплывать далеко, и честно исполняла обещание. Любила и побродить по холмам вблизи города, собирая редкие цветы позднего лета.

В один из последних дней карнея она, выкупавшись, улеглась среди кустов в тени прибрежной скалы и незаметно заснула. Проснулась от удара грома. Солнца не было. Со стороны Пропонтиды, застилая потемневшее небо, быстро надвигалась грозовая туча. Предвещающая близкий вихрь, на ее краю завивались седые космы.

---

\* Музы лирики и пения.

Накрапывал крупный дождь. Хитон Миртиллы уже покрылся водяными пятнами. Накинув на голову гиматий, она побежала вдоль берега к знакомому месту, где под нависшей скалой обыкновенно укрывались от дождя рыбаки. Туда было стадии три, но, когда до убежища оставалось шагов двести, хлынул ливень, миг превративший одежду Миртиллы в мокрые тряпки. Она вбежала под каменный навес, тяжело дыша, и присела на обломок скалы. Отдохнув, разделась донага и, свернув из одежды толстые жгуты, принялась их выжимать. Вихрь свистел, быстро развел на море пенистые валы. Стало холодно. Зубы Миртиллы стучали. Чтобы согреться, она, распялив хитон и гиматий на стене пещерки, принялась плясать. Вдруг испуганно вскрикнула и прижалась к стене убежища. В пещерку вбежали две промокшие остромордые собаки. Миртилла готовилась защищаться, искала глазами подходящий камень. Его не было, но собаки, довольные тем, что укрылись от бури, кусаться не собирались. Отряхнувшись, они обнюхали ноги женщины и улеглись на землю. Миртилла еще раз посмотрела на собак и торопливо натянула мокрый хитон. Те самые... Херсий...

Он появился из-за дождевой завесы нагой, как древние герои. В одной руке держал копьё, другой прижимал к телу узелок с одеждой. Мокрые пряди черных волос свисали на плечи.

Когда художник или ваятель изображает встречу небожителей, на богах зачастую одежды нет, богини всегда одеты. То же и со смертными — женщинам не зазорно видеть обнаженных мужчин, но сами они раздетыми нигде не показываются. Только танцовщицы и гетеры попроще бывают на пирушках полуголыми, а то и совсем голыми.

Херсий и Миртилла, увидев друг друга, смутились не потому, что на юноше не было одежды. Уже несколько месяцев влюбленный философ не узнавал при встречах ту, с которой целовался на пиру у Неофрона. Феокрит так Феокрит, а ему нет до нее дела... Другую найдет. Уверял себя, что найдет, но не находил. Старался не думать о чужой подруге и не мог ее забыть. Совсем недавно в спину попало яблоко. Его бросила Миртилла... Теперь яблоко лежало в ларце и с каждым днем становилось все душистее.

— Здравствуй, Миртилла...— охотник поздоровался так тихо, точно в пещерке был еще кто-то третий, кому не следовало слышать. Миртилла, не поднимая глаз, ответила еще тише:

— Здравствуй...

Херсий прислонил к стене копьё, обтер ладонями мокрое тело. Молча присел на камень. В пещерке становилось все свежее и свежее. Сидя в мокром хитоне, Миртилла снова начала дрожать. Юноша посмотрел на нее, развернул узелок и, ничего не говоря, набросил ей на плечи свой сухой плащ.

Впервые Миртилла благодарно улыбнулась. Сказала все еще шепотом:

— Спасибо, Херсий... а как же ты — у тебя больше ничего нет?..

— Я ничего, мне не холодно... Охотник должен ко всему привыкать. Зато знаешь, кто охотится, потом стареет медленно.

Подумала — милый он, милый... точно брат, нельзя так, заболит. Поколебалась и все-таки сказала:

— Садись рядом — плащ широкий — хватит на двоих.

Херсию хотелось сразу же ее обнять, но он не отважился. Эта встреча была точно желанный сон, и вдруг он оборвется... Миртилла сидела застенчивая и тихая. Все было не так, как ей мерещилось по ночам. Подумала о том, что ей, Херсию и Эвное вместе как раз столько же лет, сколько Феокриту, и неожиданно заплакала, положив голову на мокрое плечо юноши.

Вернувшись домой из пещерки, куда его загнал ливень, Херсий долго упрекал себя за то, что оробел от неожиданности и не стал любовником Миртиллы. Она бы не сопротивлялась... И яблоко бросила и плакала горько — почему, сказать не захотела, но было ясно, что она любит его, Херсия. Попросил о новой встрече. Долго не соглашалась, а потом вздохнула и обещала прийти помешает. И юноша-философ заранее решил, что на этот в масличную рощу за городом, если только ничто не раз он робеть не будет.

Все три дня Миртилла думала о том, идти ей в рощу или нет. Было стыдно перед Феокритом. Когда она после ливня вернулась домой и увидела ласковую тревогу поэта, ей стало жалко и его и себя. Послушно разделась, легла в постель, а он достал из ларя теплое одеяло, сам

развел в очаге огонь, чтобы поскорее напоить подругу горячим шалфеем. Эвною дома не было — Феокрит отпустил ее в гости, а рабам раз навсегда было приказано без зова не приходить.

Миртилла быстро согрелась. Стало у нее тепло и на душе. Как он ласков, как заботлив, как любит ее... Об обещании, данном Херсию, снова вспомнила только ночью. Испугалась. Нельзя идти, нельзя... Херсий ее в жены не возьмет, проживет и бросит, а там все пойдет по-старому — слюнявые старцы, безобразники купцы, юноши, которых надо выводить во двор, когда их мутит во время попойки. Нет, нет...

Но когда настало условленное утро, Миртилла, отослав Эвною с покупками домой, все же пошла в рощу, где стоял кумир Приапа. Ей не хотелось обидеть Херсия. Тогда в пещере он вел себя точно добрый брат, даже поцеловать не попробовал. Посидят, побеседуют, вот и все...

Херсий, ожидая Миртиллу, кусал губы от жаркого нетерпения. Три дня он только и думал о предстоящей встрече. По утрам в роще, посвященной Приапу, никого не бывает. Они снимут одежды, лягут на траву. Можно подстелить гиматий...

Миртилла, увидев потемневшие от страсти глаза юноши, хотела сразу же уйти. Он властно и грубо привлек ее к себе и, целуя в губы, попытался повалить на землю. Гибкая и сильная женщина вырвалась. Наотмашь ударила его кулаком по лицу. Из разбитой губы философа полилась кровь. Он выругался, как скифский лучник. Миртилла была уже далеко. Перескочив через канаву, окружавшую рощу, она бежала по жнивью, точно лисица, поднятая охотником.

Погони не было.

## XXI

Постоянный театр в Лампсаке построили недавно. Раньше сценика\* была деревянная. Перед представлениями ее белили известью. Вокруг орхестры\*\*, усыпанной мор-

---

\* Стросение, передняя стена которого обычно воспроизводила жилище главного действующего лица.

\*\* Полукруглая площадка перед сценой, на которой выступал хор. Посреди орхестры стоял алтарь.



ским песком, шли полукругом несколько рядов скамей со спинками для почетных гостей. Остальные зрители располагались на склоне пологого холма. Некоторые приносили с собой табуреты, другие просто садились на землю, подложив ветошь.

Городской совет, опасаясь больших расходов, долго откладывал сооружение каменного театра. Но Лампсак быстро рос, становился большим и богатым городом. Граждане все чаще и чаще роптали. Недоволен был и синод актеров, обосновавшийся в Лампсаке и оттуда ездивший в другие полисы. Давно уже были каменные театры не только в Пергаме, Смирне, Эфесе, Милете, но и в таких небольших городах, как Магнезия и Приена, а в Лампсаке все еще приходилось играть перед деревянным, к тому же обветшавшим строением.

Вмешался наконец царский администратор — эпистат. Ему хотелось увековечить свое правление какой-нибудь крупной постройкой, а случая долго не представлялось. Решил предложить городскому совету соорудить театр, достойный Лампсака. Знал, что в Антиохии\* его похвалят. Царской казне постройка ничего не будет стоить, а чем больше храмов, театров, портов, крепостей строится в царстве Селевкидов, тем больше славы его повелителям.

Городской совет пробовал упрямиться. Дорого обойдется театр, если его строить не скупясь, а денег в казне полиса мало. Эпистат потребовал начать постройку немедленно. Пришлось подчиниться. Совет приказал сборщикам податей сейчас же взыскать все недоимки с лаой — зависимых от города крестьян. Пришлось сделать и немалый заем, чтобы заплатить архитектору, подрядчикам, скульпторам.

Строили театр больше двух лет. Как и раньше, места для зрителей, расположенные по скатам прежнего холма, полукругом охватывают оркестру, но теперь все сидят на тесаном камне. Почетные кресла первого ряда высекли искусные каменотесы. Эпистату, старшим чиновникам, стратегу, жрецам, членам городского совета и всем, кого они приглашают, сидеть хорошо, особенно, когда рабы положат на сидения пуховые подушки. Проходы и лестницы архитектор устроил удобные — не то

---

\* Столица царства Селевкидов.

что в Афинах, где зрителям приходится подниматься гуськом. Не так уж велик Лампсак — посетителям театра не нужно тесниться, как муравьям в своей куче, чтобы до них доходили голоса актеров. Двухэтажная сцена спереди облицована белым полированным мрамором. Мрамором же вымощена и орхестра. Ни известняк, ни мрамор, привезенный с островов Пропонтиды, за немногое лет не успел еще пожелтеть. Весь театр белый, радостно блестящий, когда светит солнце. За сценой архитектор соорудил еще обширный портик, чтобы зрителям было куда укрыться в случае дождя. Перед входом в театр стоят бронзовые статуи царей, а по углам орхестры мраморные кумиры Диониса и Афродиты.

В прежние времена в Лампсаке представления устраивались только в месяце элафеболионе\* во время Великих Дионисий. В тех полисах, где зима теплее, театры наполнялись и в другие праздники бога Диониса. Трагедии, комедии, драмы сатиров давали и во время Сельских Дионисий в месяце посеидеоне\*\* и в гамелионе\*\*\*, когда славили Ленэи. В Лампсаке в эти зимние и ранне-весенние праздники лили холодные дожди, а иногда театр запорашивал снег. Жители грелись дома вокруг медных ящиков с угольями. Им было не до театров.

Не часто он заполнялся и теперь. Как и встарь, устраивали во время Великих Дионисий агон — состязание поэтов. Имена победителей, как и в Афинах, вырезались на мраморных досках. Кончался весенний праздник, и бог переставал быть хозяином театра. Время для представлений выбирали актеры. Городской совет сдавал им театр внаймы и был очень доволен, что мастера бога Диониса сами обо всем заботятся. Им только давали в помощь городских рабов, чтобы содержать театр в чистоте. За это тоже взымали с синода особую плату. Платили в городскую казну и многочисленные торговцы съестным, которые на несколько дней разбивали свои палатки и ларьки поблизости от театра.

Шел месяц боздромион\*\*\*\*. В Лампсаке началась ранняя осень — лучшее время для представлений. Нет

---

\* Март-апрель.

\*\* Декабрь-январь.

\*\*\* Январь-февраль.

\*\*\*\* Сентябрь-октябрь.

ни гроз, ни сильных ветров, ни душного зноя. Днем все еще жарко, почти как летом, но ночи стали свежими, а в иные утра над Геллеспонтом висел легкий туман.

Феокрит и Миртилла все еще спали под платаном, только укрывались теплее. Эвноя перешла в свою каморку — одной спать под открытым небом было холодно.

В день начала представлений Миртилла, любившая театр, от нетерпения проснулась задолго до рассвета и уже не могла заснуть. Откинула край одеяла, взглянула на небо. Звезды блестели по-осеннему ярко. Разогревшееся нагое тело сразу обдал холодный поток. Она снова закуталась и легла поудобнее. Задумалась. Вспомнила Афины. Когда исполнилось четырнадцать лет, в первый день Великих Дионисий мать впервые отпустила ее в театр с подругами. Сама осталась дома — огород не отпускал ни весной, ни осенью. Утро было жаркое. Девочки шли босиком, в одних хитонах. В тростниковых корзинках несли спрыснутые водой венки, еду и питье. Чтобы усесться поближе, забрались в амфитеатр загодя. Всего пять лет прошло, а кажется, что это было давно-давно... Миртилла вспомнила, как мать долго разглаживала ее праздничный хитон, как плела венок из гиацинтов и фиалок. Велела раньше времени не надевать. Миртилла представила себе запах весенних афинских цветов и беззвучно заплакала. Когда же она увидится с матерью?.. Жива ли старушка?.. Сказать бы Феокриту — не надо Египта, едем в Афины. Не захочет. Часто теперь говорит об Александрии. Видно, соскучился. Для него свой город, а для нее пока чужой, далекий, может быть, страшный. Придется привыкать... Миртилла не часто плачет, но на этот раз у нее мысли слезорождающие. Снова о матери. Бывает, и неделю и месяц мало о ней думает, а потом стыдно. Забыла...

Нет, не забыла. Все помнит. Вернулась тогда из театра усталая. Лицо горело от целодневного солнца. По обычаю, в первый день Дионисий давали одну старую трагедию, две комедии и драму сатиров. От комедий мало что осталось в памяти — путанная, веселая и стыдная сумятица. Драма сатиров тоже плохо запомнилась. Взволновала «Антигона». В театре плакала и снова заплакала, вспоминая, как уводили осужденную,

чтобы заживо похоронить ее в подземной гробнице. И среди своих тяжело умирать, а так... Подумать страшно. Потом, когда начала ходить к учителю грамматической школы, навсегда запомнила прощание Антигоны:

Солнца мне больше не видеть вовеки:  
К чуждым брегам Ахерона, в могильный,  
Всех усыпляющий мрак,  
Смерть уведет меня, полную жизни...

Снова, как пять лет тому назад, слезы щиплют глаза. Жалко Антигоны, жалко матери, самой себя жалко... Бывают такие ночи у Миртииллы.

Зато утро было радостное. На безоблачном небе ярко сияло еще не греющее солнце. В саду нежно пахло осенними розами. Миртилла, позабывшая ночные горести, долго умывалась, немало времени провела перед зеркалом. Потом, довольная собой, свежая и бодрая, позавтракала вместе с Феоκριтом. Ели больше, чем обыкновенно, — в театре предстояло провести целый день. Как всегда утром, выпили немного неразведенного вина.

Феоκριт не был ни посланником иноземного царя, ни гостем полиса. Почетного кресла ему не полагалось, но почитатели поэта настояли на том, чтобы Лампсак оказал внимание сочинителю прославленных песен. Городской совет решил предоставить Феокристу два бесплатных места на все представления. Только один член совета был против — тот самый старичок, который очень не любил гетер и в начале лета хотел на законном основании обязать Миртииллу не носить белых одежд. Совет с ним не согласился. Всем было ясно, что без Миртииллы Феоκριт не придет, а эпистат, наверное, будет недоволен. Недавно только царский администратор пригласил к себе поэта на пир и долго с ним беседовал. В городском совете кое-кто даже начал думать, что Феоκριт, пожалуй, неспроста так долго живет в Лампсаке. Кто знает, быть может, царь Египта поручил знаменитому гражданину Сиракуз разузнать, не согласятся ли в Антиохии заключить почетный мир. Оттого, мол, и эпистат так внимателен к приезжему поэту. Эти слухи рассмешили бы Феокрита, но до него они не дошли.

Перед входом в театр Миртилла сняла с головы гиматий, поправила гладко причесанные волосы и наде-ла венок из белых роз, который Эвноя несла за своей

госпожой в плоской корзинке. Надел венок и Феокрит. Один из распорядителей повел поэта и его подругу на места, отведенные по приказанию городского совета прямо против сены.

Их появление заметили многие. Некоторые зрители передних рядов даже привстали, чтобы лучше рассмотреть. Миртилла, чувствуя на себе внимательные взгляды, спокойно и уверенно шла вслед за Феокритом. Делала вид, что ни на кого не обращает внимания, но заметила многое. Пожилой стратег, которого она давно знала в лицо, обернулся и вытянул худощавую шею. В первом ряду недалеко от него какой-то старичок, очень злой на вид, тоже пристально смотрит на нее. Жрец Аполлона кланяется Феокриту. Вот и Херсий в третьем ряду... Конечно, узнал, но отвернулся и что-то говорит соседу, тоже юноше. Наверное, о ней...

Эвноя положила на сидения нарядные расшитые подушки. Сама пошла по лестнице в верхние ряды, где сидят ремесленники победнее, воины, свободные слуги, а случается, и рабы, не убоявшиеся порки, хотя «телам» в театр ходить не полагается.

В амфитеатр густыми потоками вливались все новые и новые зрители. Обогнув оркестру, они растекались по лучам проходов, торопливо разыскивая свободные места, которых становилось все меньше и меньше. Между рядами осторожно пробирались со своими лотками продавцы плодов и сладостей. Вокруг них бесстрашно и назойливо вились осы. Девочки-подростки разносили в гидриях, обернутых мокрыми тряпками, холодную воду с гранатовым соком.

Время шло. На мраморных креслах первого ряда уже восседали старшие царские чиновники, жрецы и жрицы, члены городского совета. Не было только запоздавшего эпистата, и из-за него не начинали представления.

На смену утреннему холодку, заставлявшему зрителей плотнее запахивать гиматии, пришло сухое осеннее тепло. В амфитеатре, заполненном сверху донизу, несмотря на широкие проходы, становилось душно. В верхних рядах кое-кто нетерпеливо рукоплескал. Другие стучали палками о камень сидений.

Миртилла прикрывала рот гиматием, чтобы не было видно, как она зеваает. Феокриту тоже надоело ждать.

Он встал и, повернувшись спиной к сцене, принялся разглядывать толпу. Как всегда, нижние ряды блестели глаженной белизной хитонов и гиматиев. Кое-где пестрели между ними цветистые платья гетер. Чем выше, тем больше было разноцветных одеяний. Розовые, желтые, голубые, коричневые, винно-красные, зеленые гиматии и хитоны перемешались с редкими белыми пятнами. На самом верху царил серый холст бедных людей. Многие пришли туда в одних хитонах, и глаза поэта издали различали движения коричнево-загорелых рук.

Резкие звуки труб заставили Феокрита снова повернуться лицом к оркестре. Сопровождаемый воинами в блестящих доспехах, шел к своему месту эпистат, высокий морщинистый старик в длинном, искусно расправленном гиматии. Передние ряды встали. Раздались рукоплескания, но чем дальше от мест важных и богатых, тем хлопки были слабее. Зрители в сером холсте молчали.

Амфитеатр оживился, задвигался — словно ветер пробежал по холму, густо поросшему цветами.

Древний обычай все еще соблюдался. Перед началом представления надлежало принести жертву богу Дионису. Посередине оркестры на мраморном алтаре уже разгорались сосновые поленья, обильно политые оливковым маслом. Жрец с длинным блестящим ножом стоял на приступке — фимеле, и храмовые служители вели к нему белого тельца с вызолоченными рожками и венком на шее.

Наконец звуки труб возвестили начало представления. Снова по амфитеатру пробежала белая и цветная рябь. Все теперь смотрели на сцену. На щитах, установленных между колоннами проскения\*, был изображен стан Агамемнона, царя Микенского. Посередине матерчатые полы прикрывали вход в его палатку.

Феокрит любил «Ифигению в Авлиде». Видел славную трагедию Эврипида и в родных Сиракузах и в Александрии, где однажды при недавно умершем царе ее играли знаменитые актеры во время праздника Великих Дионисий. Птолемей хотел, чтобы в его столице

---

\* Передняя стена сцены. Для перемены места действия между постоянными столбами проскения устанавливались соответствующим образом расписанные передвижные щиты.

театр, подобно библиотеке, был лучшим во всей ойкумене. Царь щедро одарил и самих актеров. Любил пышные одеяния и у себя во дворе и в театре. Феокриту казалось, что пышность портит трагедии, но своих мыслей он никому не сообщал. Боялся, как бы они не дошли до дворца.

В Александрии царь Агамемнон вышел ночью из походной палатки в роскошном одеянии из тяжелых материй, расшитых золотом. Усталая царица Клитемнестра и ее дочь после долгого пути из Аргоса в Авлиду въехали на оркестру в таких нарядах, точно они уже переоделись для свадебного пира. Везде золотой блеск, пестрые узоры, и даже рабы одеты богаче богатых зрителей. Феокрит ждал, что же будет в Лампсаке. Трижды прозвучали трубы, и сейчас же из палатки вышел Агамемнон в походном плаще, отороченном золотой каймой. Без золота и здесь не обошлось. Оно, правда, приличествовало царю златом обильных Микен. Несмотря на нарядный плащ, Агамемнон все же был похож на предводителя эллинских воинов, ждущих отплытия к Трое. Хорошо подобрали и маску. Царь озабочен, но еще спокоен. Он изменил свое решение и дочери в жертву Артемиде не принесет. Не бывать этому... Уверенно звучит умелый голос актера:

А теперь —  
То, что тогда нездорово я надумал,  
Я передумал здорово...\*

Преданный раб понесет новое послание царице Клитемнестре. Ифигении в Авлиду не ехать. На рабе маска старца. Он одет бедно, но короткий хитон чист, и заплат на нем нет. Старик еще бодр, хотя горбится и голос у него глуховат.

Феокрит с удовольствием смотрит и слушает. Так лучше, чем в Александрии... Миртилла видит «Ифигению в Авлиде» в первый раз. Не знает и содержания трагедии. Волнуется. Что будет с девушкой... Успеет ли вестник предупредить. От последних слов умного раба в конце пролога ей становится тоскливо и страшно:

О, стремления смертных! Никто не блажен  
До конца своей жизни — улыбка богов

---

\* Перевод И. Ф. Анненского.

Ненадолго нам светит. Трудись же, борись,  
Чаши мук не уйдет ни единый.

Миртилла крепко сжимает руку Феокрита. Не будь людей, прильнула бы к нему — он один и от судьбы сможет защитить... Поэту тоже грустно. Да, мы ищем счастья, надеемся на счастье, а оно словно пугливая лесная птица. Залетит ненадолго в сад жизни — и снова его нет...

Миртилле все больше и больше захватывает трагедия. Она презирует колеблющегося Агамемнона, ненавидит себялюбца Менелая, готова обнять старого раба, так хотевшего спасти юную госпожу. Горе Клитемнестры сразу стало ее горем. Восхищает Миртилле благородный Ахилл, готовый пожертвовать собой ради девушки, которую обманули, играя его именем. Он высок ростом, широкоплеч, но строен. Сверкают на солнце его бранные доспехи. В движениях спокойная и бесстрашная решимость. Герой клянется несчастной матери спасти ее дочь. Мужественный голос звучит задушевно и торжественно:

Ты, бедная, из самых близких рук  
Привышая страданье,— сколько хватит  
В деснице сил и в сердце сожаленья,  
Я все отдам тебе; и дочь твою,  
Моею нареченная невестой,  
Зарезана у кораблей не будет...

Какой удивительный голос... Мягкий, певучий, доходящий до сердца, и в то же время настойчивый, властный, звенящий, как боевая труба. Миртилле кажется, что где-то она уже слышала этот голос. Силится припомнить, где, но не может. Да и нет времени думать. Герой продолжает свою речь:

Послушай же, царица, ты во мне  
Увидела спасителя и бога,—  
О, я не бог, но я тебя спасу.

Последние слова Ахилл произносит так искренне и горячо, что многие зрители вскакивают со своих мест, рукоплещут, восторженно кричат, бросают на оркестру венки. Радостно кричит и Миртилла. Снова сжимает руку Феокрита.

— Он спасет ее, правда?

— Нет, милая, не спасет...



Актер, заметив, что рукоплещет и эпистат, низко кланяется царскому администратору. Потом снова становится царственным воином Ахиллом.

Миртилла забыла о том, что она в театре и перед ней актеры, говорящие так, как никто не говорит в жизни. Вслушивается в каждое слово. Бедная мать... Бедная, бедная, милая Ифигения... Как она умоляет отца пожалеть, не губить:

Глядеть на свет так сладко и спускаться  
В подземный мир так страшно,— пощади!

Феокрит слышит, как плачет перед проскением обреченная Ифигения. Умеет плакать юноша-актер, перебивший радостную маску царевны на скорбную. И Миртилла беззвучно плачет, вытирая слезы краем гиматия, чтобы не мешали смотреть. Поэт шепчет подруге на ухо:

— Успокойся... не надо так...

Она послушно кивает головой, старается улыбнуться, но уголки губ вздрагивают и улыбка не удается.

Для смертного отраднo видеть солнце,  
А под землей так страшно... О безумец,  
Кто смерти жаждет! Лучше жить в невзгодах,  
Чем в самой яркой славе умереть.

Опять Миртилла вытирает глаза. Как это печально в трагедиях — все о конце и конце... Жить хочется.

А Ифигения, девушка, недавно трепетавшая перед смертью, решила добровольно умереть, чтобы спасти родину всех эллинов:

Я умру — не надо спорить,— но пускай, по крайней мере,  
Будет славной смерть царевны, без веревок и без жалоб,  
На меня теперь Эллада, вся великая Эллада  
Жадно смотрит...

Восторженно звенит молодой голос. Ахилл склонил голову перед самоотверженной царевной. Она обращается теперь не к матери, а к хору и зрителям:

Грек — цари, а варвар — гнися. Неприлично гнуться грекам  
Перед варваром на троне. Здесь — свобода, в Трое рабство!

Снова в амфитеатре буря. Цветные ряды рукоплещут, кричат, стучат посохами. Зрители в белых одеждах мол-

чат. Им, сидящим в передних рядах, привольно живется и при здешнем царе Селевкиде, а о воскресении свободной Эллады они не думают. Молчат и верхи амфитеатра. Люди в серых хитонах знают, что бедным хлеба всегда не хватало, не хватает и, наверное, не будет хватать, кто бы ни правил страной.

Феокриту хочется похлопать хорошо играющему актеру, но он осторожен. Кто знает, быть может, придется навсегда остаться здесь, в Лампсаке. Лучше не обращать на себя внимания. Эпистат и так недовольно оглядывается на бушующих зрителей. Администратору ясно, что они думают не о Трое, а о столице его повелителя, но нельзя же запретить Эврипида... И царский чиновник молча ждет, пока венки перестанут лететь на оркестру.

Миртилла своих роз не бросила. Понимала и слова и чувства Ифигении, пока царица хотела жить, а добровольной смерти не понимает.

В тот день после «Ифигении в Авлиде» играли «Алкестиду»\*. Снова Миртилла плакала, слушая прощание с детьми матери, жертвовавшей собой ради спасения любимого мужа. И эту трагедию Эврипида она видела впервые. Феокрит улыбался, утешая плачущую:

— Побереги слезы, подожди...

У нее появилась надежда, а когда Геракл, пришедший в дом скорбящего мужа, поборол демона смерти, она радостно заплодировала вместе со всем амфитеатром.

Довольная счастливой развязкой, Миртилла почувствовала, что сильно проголодалась. После двух трагедий подряд устали и актеры и зрители, а предстояла еще одна трагедия и драма сатиров. Глашатаи объявили перерыв. Снова потекли по лестницам из глубины амфитеатра пестрые потоки, перемешиваясь с белоодежными зрителями первых рядов. Серые задние разошлись по склонам окружавших театр пологих холмов. В условленном месте Феокрита и Миртиллу ждала Эвноя с корзиной домашней провизии, прикрытой холстом. Поэт и его подруга разулись и, сняв гиматии, уселись на выгоревшую жесткую траву. На солнце было по-летнему жарко. Пряно пах лиловый, все еще цветущий чебрец. Эвноя, опорожнив корзину, хотела уйти, но Феокрит усадил и ее.

---

\* Трагедия Эврипида.

Миртилла с благодарностью взглянула на поэта. После него служанка была для нее самым близким человеком в Лампсаке. Пережив трагедийные волнения и наслушавшись рассуждений о смерти, она радостно отдыхала, смотря на залитые солнцем холмы, голубое море, весело шумевшие и перекликавшиеся кучки людей, утолявших голод и жажду.

После перерыва началось представление «Ипполита увенчанного». Миртилла сразу же узнала по гибкому, спокойно-красивому голосу Ипполита актера, который утром так хорошо играл Ахилла. Опять силилась вспомнить, кто же он, и снова не вспомнила. Хотела было спросить у Феокрита имя актера, но, сама не зная почему, не решилась. А когда начался последний диалог Артемиды и Ипполита, она снова заплакала, как и многие женщины, бывшие в театре. Богиня, враждовавшая с ее любимцей Афродитой, ей не нравилась, но голос умиравшего Ипполита звучал волнующе-нежно:

— А...

Волшебное благоуханье! В муках  
Ты льнешся в грудь... и будто легче мне...

Пока по окончании трагедии приставленные к театру рабы переменяли раскрашенные щиты между колоннами проскенния, зрители ели плоды и сладости, которые торговцы снова разносили по рядам. Феокрит купил большую кисть душистого лампсакского винограда. Миртилла предпочла недавно созревшие приторно сладкие фиги. Осторожно надкусывала их, чтобы не запачкать одежду. Кругом разговаривали, спорили, смеялись. Виногато улыбаясь, сказала Феокриту:

— Наревелась я сегодня на целый месяц...

— Пожалуй, даже на все три... Ты ведь редко плачешь, Миртилла.

— Да, не часто, когда переживаю свое, а в театре не могу. Слишком мне всех жалко.

— Славная ты моя... Ну, теперь зато насмеешься.

— А «Киклоп» — это весело?

— Сама увидишь.

Глядя на обжору и пьяницу Полифема, на его спутников-сатиров, на потешные приключения Одиссея, Миртилла хохотала, точно развеселившаяся девочка. Смеялись все — старый чиновник-эпистат, жрецы, воины,

философы, гетеры, зрители белые, разноцветные, серые... Выходили из театра веселыми толпами, громко разговаривая и все еще смеясь. Трагик-философ умел и рассмешить, чтобы люди, насмотревшись на ужасы жизни, не забывали, что она все-таки хороша и жить стоит.

Был уже вечер. Солнце собиралось спрятаться за горы Херсонеса Фракийского, от деревьев тянулись длинные размытые тени, но воздух, нагретый за день, нежил утомленные тела и звал на берег тех, кто не боится осенней воды. Феокрит и Миртилла решили выкупаться.

Бросившись в воду, спокойную и холодную даже после жаркого дня, Миртилла завизжала так пронзительно, что проходившая поблизости старуха испуганно оглянулась. Уж не тонет ли кто?.. Нет, среди розовых вечерних брызг виднелись два загорелых тела, быстро плывшие от берега. За летние месяцы Миртилла научилась хорошо плавать, и Феокрит не боялся теперь заплывать с ней далеко. Потом, взявшись по обыкновению за руки, они выбежали на берег освеженные и бодрые. Присели отдохнуть на разостланные гиматии. Солнце закатилось. Сразу стало свежо. Одеваясь, Миртилла дрожала точно в лихорадке. Посиневшие ноги покрылись гусиной кожей. Феокрит взглянул на нее, посмотрел на осенне-неподвижную морскую гладь, покачал головой.

— Милая, сегодня мы, кажется, купались в последний раз в этом году.

— Нет, что ты. Давай завтра еще выкупаемся, только днем.

— Нет, довольно... Не хочу, чтобы моя Миртилла заболела. Вот, когда уедем в Египет, будем плавать почти весь год.

— Феокрит, мне что-то не верится, что мы уедем.

— Почему? Ты же знаешь, что я только и жду письма из Александрии.

— Давно ждешь, и все его нет. Будет ли?..

— Будет, будет. У меня там такие друзья, которые, наверное, ответят. Если можно, прощай, Лампсак... Сейчас же уедем.

— А если нельзя?

— Тоже уедем, Миртилла, только не в Египет. Я же тебе говорил...

Они шли домой, беседуя о будущей своей жизни в Александрии или на одном из островов. За ужином тоже

не говорили о театре. Утомили за день выдуманные людские беды, но, когда улеглись под платаном, Миртилла почувствовала, что скоро не уснет. Вновь юная женщина слышала голоса актеров, то радостные, то скорбные, и яснее всех — Ахилла и Ифигению.

У царевны появился такой защитник, а она решила добровольно умереть. Миртилла прошептала, отвечая своим мыслям:

— Не понимаю...

— Чего не понимаешь, милая?

— Зачем Ифигении было умирать?

— Чтобы спасти Элладу, Миртилла. Так она считала...

— Вот этого-то я и не понимаю. Ведь не троянцы же напали на эллинов, а наоборот?..

— Но сын их царя увез Елену...

— И из-за этого война? Из-за этого должна умереть Ифигения? Феокрит, я совсем ничего не понимаю...

Поэт не ответил. Он был рад, что подруга умеет думать по-своему. Хорошо с ней, радостно... Давно так не было хорошо. Укрывшись с головой одеялом, они не видели друг друга, но обоим хотелось говорить ласковые слова.

— Ты — мой Ахилл...

— Совсем не похож. Моя мать Филина, а не морская нимфа Фетида. Ни копья, ни меча я ни разу в руках не держал.

— Но ты меня спасешь.

— От кого, моя радость?

— От меня самой... Я сама себе враг.

— Не выдумывай, Миртилла. Опять плачешь? Что с тобой? Засыпай, моя хорошая, спи... Тебе надо отдохнуть после сегодняшнего.

Она заснула, обняв поэта, но, наволновавшись за день, не могла успокоиться и во сне. Слышала голоса, видела маски. Шумел амфитеатр. Алкестиды прощалась с детьми. Ифигения умоляла отца не убивать ее. Сверкали латы Ахилла. Голос у него ласково-настойчивый.

— Подумай же: ведь умирать так страшно!..

Миртилла вздрогнула и проснулась. Голос актера еще звучал в ушах. Опять попробовала вспомнить, где же она слышала его раньше, и не смогла. Долго лежала с открытыми глазами в душной темноте. Феокрит мерно дышал.

От него шло живое тепло. Миртилла почувствовала, что сейчас снова заснет, но еще раз попыталась напрячь память.

И вдруг все стало ясно. Да ведь это тот самый актер, который говорил речь у жертвенника на пиру у Неофрона!.. Хотела тогда к нему подсесть, но хозяин велел идти к Феокриту.

Вспомнила. Можно спать. И Миртилла заснула.

## XXII

В ее саду сухая пыльная осень. Ночи стали уже так прохладны, что поэт и его подруга, как и Эвноя, больше не спят под платаном. В комнате теперь лучше — бодрящая свежесть, яблочный дух и уютные песни сверчка, давно поселившегося за ларем с платьем. Выходя поутру в сад, Миртилла надевает сандалии — иначе босые ноги зябнут и синеют от холодной росы. О купании в море и думать нечего. Даже мальчишки перестали хвастаться друг перед другом и бросаться в холодную воду. Из далекой Скифии нет-нет — и пролетают треугольники журавлей. Беспokoйно курлыкают, медленно плывут по побледневшей небесной лазури. Порой скрываются за легкими, но по-осеннему низкими облаками. Солнце все же еще не сдается. К полудню в садике жарко. Понемногу осыпаются порыжевшие листья яблонь. Последние пчелы ищут последние цветы. На грядках доцветают пунцовые и белые розы. Миртилла не хочет распрощаться с ласками солнечного бога. Донага уж не раздевается. В затишье хорошо, но стоит потянуть ветру с Пропонтиды, и сразу озябшая кожа просит одежды. Пока тихо, Миртилла, сняв гиматий, сидит на скамейке в домашнем высоко подобранном хитоне с полуоткрытой грудью. Не та она, что была, когда весной впервые встретилась с Феокритом. Все так же юна, но красивые плечи округлились и сильное гибкое тело цветет, словно куст роз в начале лета. Не сравнить ее теперь с тощей, опаленной солнцем девой Бомбикой, хотя за это лето она загорела еще сильнее, чем в прошлые годы.

Амазонка Поликлета\* — думает мужчина, незаметно

---

\* Один из знаменитых скульпторов V века до н. э., родившийся в Сикионе.

вошедший в сад. Хотел постучать кольцом калитки, но только взялся за него, калитка сама приоткрылась. Эвноя, уходя за водой, забыла попросить хозяйку, чтобы задвинула засов. Мужчина притаился за кустом, подглядывает. Нет, не амазонка. У сикионского ваятеля раненая дева-воительница точь-в-точь в таком же хитоне, перехваченном поясом, но тело у нее мужеподобное, а эта больше похожа на отдыхающую Афродиту-пандемос. Жаль только что не сняла одежды. Может быть, еще снимет... Незнакомка встала, набрасывает гиматий. Повернулась, идет к дому. Жаль, жаль...

— Что тебе здесь нужно? Уходи!

Мужчина недовольно поднимается и оборачивается. Перед ним широкоплечая коренастая девушка в сером холщовом хитоне. Мускулистой рукой придерживает на голове тяжелую гидрию.

Мужчина выпрямляется во весь высокий рост. По привычке быстрым движением закидывает полу гиматия за левое плечо. Правую кисть выпростал, придерживает край одежды. Левая уперта в бедро. Понимающий человек узнал бы сразу: статуя Софокла, взирающего на народ. Эвноя понимает одно — перед ней не раб, и обругать его нельзя, но выгнать надо.

— Говорю тебе, уходи!

Мужчина выпростал всю правую руку и наставительно простер ее в сторону девушки. Голова высоко поднята. Гиматий превратился в военный плащ, наброшенный на спину. Длинноват, правда, но левая рука, по-прежнему упертая в бедро, придерживает его край. Уже не Софокл, а строгий начальник конницы с западного фриза Парфенона.

— Рабыня, так-то ты встречаешь друга своего хозяина!

Эвное хочется сказать, что она свободнорожденная, а прятаться за кустом господину не подобает, но она робеет. У мужчины глаза злые — совсем, как у мясника ее деревни, когда вовремя ему не отдашь долг. Голос же такой, что нельзя не послушаться. Опустила гидрию на землю. Покраснела. Заскорюзлыми пальцами теревит пояс.

— Феокрит дома?

— Нет, господин...

— Скоро придет?

— Не знаю, не сказал... Миртилла дома.

— Его жена?

Эвноя молчит. Не знает, что ответить. Не думала о том, кто же сейчас ее госпожа — жена или только так... Еще больше краснеет. Мужчина успокоился, опустил руку. Как обыкновенный человек, сел на скамейку, запахнул гиматий. Ясно, что приглянувшаяся ему молодая женщина не жена Феокрита. Он доволен. Говорит спокойно и властно:

— Позови ее, рабыня!

Эвноя покорно поднимает полную гидрию и, снова поставив ее на голову, идет в домик. Ничего с этим человеком не поделаешь. Еще нажалуеться.

— Сказал, что друг?

— Да, госпожа. Высокий, сердитый. Одет хорошо. Говорит не как все люди и стоит особенно. Сильно ломается, — наверное, актер...

Миртилла в затруднении. Еще ни разу никто из знакомых Феокрита не приходил, когда его не было дома. Друг-актер... Ничего о нем не слышала. Но, если в самом деле друг, надо ему сказать, чтобы подождал, а то Феокрит рассердится. Миртилла переделалась. Вышла в сад в длинном белом пеплосе и таком же гиматии. Теперь осень — можно и у себя дома закутаться. Ей не хотелось, чтобы гость видел ее тело.

Ожидая ее, мужчина обдумывал, как ему встретить подругу Феокрита. Принял было позу отдыхающего Ареса\*, потом оперся подбородком о посох, подобно Эдипу, размышляющему над загадкой сфинкса. Ни Арес, ни Эдип не годились. Нужен был кто-то другой, а кто — он не успел сообразить. Легким неторопливым шагом приближалась загорелая женщина в белом одеянии, блестящем на солнце. Мелькнул в памяти стих Коринны:

Белодежным я лишь пою  
Танагриянкам песни мои...\*\*

Мужчина увидел ее лицо и вздрогнул. Когда всматривался издали сквозь ветки граната, не узнал. Имени, сказанного служанкой, не помнил. Теперь узнал сразу.

---

\* Бог войны.

\*\* Перевод В. В. Вересаева.



Та самая, которую видел на пиру Неофрона. Потом еще мерещилась ему в Эпидавре, когда напился пьяный после неудачи в театре. Та и не та... Не похожа на гетеру. Белоодежная мужнина жена. Все равно, все равно. Приходили к нему и настоящие жены... Гиперид встал со спокойным достоинством и поклонился поклоном Ахилла перед Клитемнестрой. Ты царица, но и я царь и к тому же сын богини... Миртилла посмотрела на него с изумлением. Вот кто пришел в ее сад... Она уже давно знала имя понравившегося ей актера. А многоопытный глаз Гиперида сразу заметил, что юная женщина взволнована. Надо быть с ней попроще. Какая там царица... И он больше не царь и не герой. Просто влюбленный пастух Комат. Голос звучит ласково и задушевно:

Дикий шиповник из леса иль простенький цвет анемона  
Могут ли с розой сравниться, растущей в садах вдоль ограды?

Пытливо смотрит на черноглазую красавицу. Знает она или не знает, чьи стихи? Знает... Смеется, показывая удивительные зубы. Понимающе кивает головой. Усадила его на скамейку, сама села рядом, завернувшись в гиматий. Ее тело, окутанное белой тканью, пахнет розовым маслом.

— Ты друг Феокрита?

Он скромно опускает глаза и разводит руками:

— Надеюсь им стать... Пока я его почитатель.

— Но моей служанке ты сказал иначе?

Актер улыбается.

— Пришлось... Калитка была не заперта, я зашел, а она хотела меня выгнать.

Миртилла тоже смеется.

— Эвной у меня строгая... Извини — я не знала, что ты придешь.

— Я и сам этого не знал. Феокрит давно меня звал, но я очень занят. Сегодня случайно смог.

— Ну и хорошо. Подожди немного — он скоро придет.

О чем с ней говорить... Женщина смотрит пытливо. Молчит. Во внимательных черных глазах любопытство.

— Тебя зовут Миртилла?

— Да.

— Ты знаешь, кто я?

— Знаю... Я несколько раз была в театре. Узнала тебя по голосу.— Ей хочется сказать — по прекрасному голосу, но не решилась.

— Тебе понравилось, как я играю?

Ее глаза говорят правду. Смотрит на него, как девочка, которую обрадовали подарком.

— Да, Гиперид... Я плакала, плакала. Не могла...

— Мне жаль, что я тебя огорчил.

— Нет, нет... После таких слез на душе хорошо. Не знаю почему, но так. Только жаль, что вы, актеры, играете в масках. Разве без них нельзя?

— Нельзя, Миртилла. Сам знаю, что живое лицо лучше, но ведь его увидят только передние ряды. У вас здесь еще театр небольшой, а возьми Эпидавр, Афины...

— Я сама из Афин.

— Вот как... Да, ты говоришь не по здешнему. Любишь свой город, Миртилла?

— Как его не любить...

Замолчала, но, видно, волнуется. Уголки рта вздрагивают.

— Ты хотела бы снова увидеть Афины?

— Зачем ты меня об этом спрашиваешь, Гиперид?

Он и сам не знает, зачем. Кажется, хочет сильнее взволновать. Уже его рука ищет под гиматием ладонь Миртиллы, но она хмурит брови, отодвигается.

— Оставь... иначе я уйду.

— Зачем же... Мне с тобой хорошо.

— А мне нет. Сейчас же пусти руку!

— Она прекрасна... такие пальцы...

— Эвной! Эвной!

— Не надо, Миртилла...

— Надо... Эвной!

Служанка, растапливавшая печь, бежит на зов так быстро, точно за ней гонятся волки. Актер злобно сжал губы.

— Эвной, возьми лопату и вскопай эту грядку.

— Госпожа, а как же?..

— Потом... Делай, что я тебе говорю!

Коренастая девушка внимательно смотрит на госпожу. Что-то она раскраснелась, а этот бритый злится. Лез к ней, что ли?..

Поэт застает их втроем. Гиперид и Миртилла сидят на скамейке, о чем-то беседуют. В пяти шагах от них

Эвной старательно вскапывает затвердевшую землю, с силой налегая на лопату босой загорелой ногой.

— Привет тебе, Феокрит!— актер встает и низко кланяется.

— Рад тебя видеть, Гиперид. Наконец-то ты вспомнил обо мне.

— Никогда не забывал и не забуду, но прости меня — я редко хозяин своего времени.

— Теперь-то ты, надеюсь, свободен — представления кончились.

— Готовимся к новым. Скоро мы уезжаем.

— Куда?

— Синод еще не решил. Послали гонца поразведать. Куда-нибудь, где зимой потеплее,— в Смирну, в Милет, может быть, на Родос.

— Извини меня — прерву беседу. Миртилла, наш гость, наверное, проголодался. Распорядись! Оставь пока грядку, Эвной.

— Зачем, Феокрит? Я недавно поел.

— Нет, нет... Позаботься, Миртилла!

Если бы можно было всегда говорить то, что думаешь, Гиперид бы сказал: — Не отсылай ее, потому что я ею люблюсь.— Сказать этого нельзя, лицо у актера спокойно-безразличное. Феокрит смотрит вслед уходящей подруге. На губах у него ласковая улыбка. Гиперид чувствует, что теперь настало время осторожно похвалить Миртиллу.

— Не рассердишься, если я буду откровенен?

— Прошу тебя.

— Я рад видеть, что поэт нашел десятую музу.

— Скажи проще — женщину, с которой не расстанусь до конца своих дней.

Гиперид сочувственно молчит, а мысли его уверенные, наглые: — Расстанешься, расстанешься... Она — роза, а ты — осенний гриб. Стихами не удержишь.— Говорит другое:

— Я довольно долго тебя ждал, но не заметил, как прошло время. Миртилла рассказывала об афинском театре. Она понимает многое, чего другие женщины не понимают.

— Да, ты прав... Теперь мы с тобой поговорим о театре. Скажи, Гиперид, кого ты охотнее всего играешь?

— Мне трудно на это ответить, Феокрит. Сам себя

не раз спрашивал, а решить не мог. Люблю все свои роли — каждую по-своему. У меня их много.

— Да, ты прекрасный актер. И знаешь, я завидую твоему голосу. Если бы мне такой...

— Твой голос, Феокрит, будет звучать вечно, а мой умрет вместе со мной. Если доживу до старости, захиреет еще раньше.

— Гиперид, о вечности лучше не говорить. Песен на скалах не высекают, да и скалы понемногу рассыпаются в песок.

— Но не твоя слава!

— Мне часто о ней твердят, только я, знаешь, не легковерен. Сегодня считают лучшим песнопевцем, завтра забудут. И не хочу я цепляться за славу, как репейник за козий хвост. Пойдем теперь закусим — Миртилла зовет.

Разные есть актеры. Есть бродячие полунищие лицедеи, которые на рынках и площадях ломаются перед толпой в озорных фляках вместе с полуголыми, а иногда и совсем голыми порне, изображающими обитателей Олимпа. Живется им тяжело, и в почтенные дома их не зовут. Есть и такие, которых зовут и ублажают не только богатые и знатные, но и сами цари. Порой умело сказанные слова решают судьбу полисов и целых царств, а мастера бога Диониса говорить умеют. Бывает, что они ведут переговоры о важных государственных делах, сватают невест для тиранов, убеждают граждан в необходимости войны или мира. Мало ли что поручают правители много видевшим и многих знающим людям, которых в чужих странах принято считать неприкосновенными.

Гиперид не был ни площадным лицедеем, ни государственным человеком. С царями он не знался, переговоров ни с кем не вел, но талант у него был немалый, а голос на редкость приятный, гибкий и сильный. Зрители его любили. Товарищи по синодам хотя и не любили, но дорожили им, как магнитом, который притягивал в театр многих и многих зрителей.

Сам Гиперид любил свое дело, любил Софокла и Эврипида, любил успех и славу, любил женщин, но больше всего любил самого себя. Жениться не хотел, хотя во время поездок случалось, что даже знатные и богатые отцы прочили своих дочерей за человека, так

хорошо представлявшего богов, царей и героев. О жене пришлось бы заботиться и на нее тратиться, а Гиперид предпочитал, чтобы женщины расходовались на него. Любил бывать у богатых гетер, легко влюблявшихся в высокого и статного мужчину, обладавшего превосходным голосом. Много зрительниц втайне мечтали о близости с Гиперидом, многим он снился по ночам, но все почти обитательницы гинекеев могли только любоваться актером. Встречи с ним были уделом гетер. После представления, пока он мылся и переодевался в здании сены, у задних дверей собиралась зачастую целая толпа молодых и немолодых женщин в цветистых дорогих нарядах. Гиперид выходил в сопровождении раба. Скользил привычным внимательным взглядом по набеленным и нарумяненным лицам, небрежно отвечал на приветствия. Потом быстро вскакивал на наемного коня и сразу поднимал его в галоп. Вечером обыкновенно являлись рабыни с табличками от гетер. Оставалось расспросить и выбрать. Случалось, что прежде чем отправиться к хозяйке, Гиперид проводил время с молодой служанкой. В Эпидавре одна из них, совсем юная варварская девушка из страны бастарнов, так влюбилась в него, что из ревности пыталась отравить хозяйку. Гетера выздоровела, а рабыня, боясь кары, бросилась в море и утонула.

Иногда Гиперид и сам посылал раба к полюбившейся ему служительнице Афродиты. Он был избалован, самолюбив и не знал отказов.

Вернувшись от Феокрита, актер долго не ложился спать. Сидел у догорающего очага и размышлял. Ему было ясно, что Миртилла оставила ремесло гетеры. Было ясно и то, что поэт ее любит. Любит ли Феокрита Миртилла, Гиперид себя не спрашивал. Был уверен в том, что начнись у него с поэтом агон\* из-за женщины, победителем останется, конечно, он, Гиперид. Феокрит — почти старик и к тому же старик небогатый. Куда ему...

Песни Симихида\*\*, особенно пастушеские, актер на самом деле любил. Многие знал наизусть. Уважал песнопевца искренне. Уважение осталось и теперь, когда он увидел у Феокрита Миртиллу. Поэта чтит, а над ста-

---

\* Состязание.

\*\* Феокрит иногда называл себя так по имени любимого отчима.

риком заранее подсмеивался. Решил, что подругу отобьет у него во что бы то ни стало.

Начались у Гиперида томительные дни и беспокойные ночи. Давно уже женолюбивый актер не переживал такой страсти. Мысль о коричнево-загорелой юной женщине с большими глазами не давала разучивать роли, лишала сна. Гиперид, точно юноша, метался в постели. Еще ничего не добившись, уже ревновал Миртиллу. Она должна быть его... Должна быть и будет. Надо только обойтись с ней умеючи. Одну ошибку уже сделал — нельзя было торопиться. Она теперь обидчива. Ничего, забудет...

Через неделю актер решил, что пора снова побывать у Феокрита. Звал ведь его... Поэт действительно сказал ему при прощании, что рад бы был еще раз побеседовать с ним, прежде чем Гиперид уедет. Гость не очень понравился Феокриту. Слишком уже много было в нем театрального, хотя актер и старался держаться попроще — и для Миртиллы и, особенно, для ее знаменитого друга. Понимал, что при сочинителе пастушеских песен принимать позы знаменитых статуй не следует. Простота все же плохо удавалась Гипериду, с юности привыкшему изображать небожителей и царей. Феокрит посмеивался про себя, слушая переливы его голоса — то шепот, то почти крик. Но о театре Гиперид говорил умно и с увлечением. Занимательны были его рассказы о странствиях синода актеров, об иноземных царях, о местах, в которых поэту не пришлось побывать.

В городах Азии у эллинских женщин больше свободы, чем у афинских затворниц. На островах Архипелага еще больше, особенно на Косе. Поэт привык к тому, что всеми уважаемые женщины вместе с мужьями принимают там гостей-мужчин. Не угости жена мужнина друга, случайно пришедшего, когда хозяина нет дома, ей бы сильно досталось от мужа за неучтивость.

Феокрит тоже не прятал Миртиллу от мужчин. Верил и надеялся, что она ему не изменит. А если полюбит другого, тогда все равно ничто не поможет... Гиперида он не опасался, хотя слышал, что актер всегда добивается своего, если женщина ему понравится. На Миртиллу гость, казалось, обратил мало внимания. Беседовал с ней, пока не с кем было говорить, а потом не сказал ей больше ни слова. Похвалил, правда, за глаза, но бы-

ло ясно, что хотелось угодить хозяину. К тому же Гиперид скоро уезжает. И поэт, пригласив актера, попросил его заранее предупредить, когда ждать гостя.

Раб принес табличку рано утром. Гиперид писал, что хотел бы прийти после полудня. День был солнечный и все еще довольно теплый. Феокрит решил принять гостя в саду. На той же самой полянке, где весной Миртилла однажды пиновала с поэтом и Херсием, снова были приготовлены лежа из сухого тростника, покрытые мягкими овчинами, чтобы возлежащие не озябли. Осень чувствовалась во всем. Низкое солнце посылало косые лучи и, хотя шел первый послеполуденный час, тени деревьев были длинные и нечеткие. В сине-золотистом неподвижном воздухе медленно плавали блестящие паутинные нити. Бабочек уже не было. Одни поздние шмели изредка проносились гудящими коричневыми комочками над засохшей травой.

Миртилла встретила Гиперида одетая, как подобает хозяйке дома в эту пору. На ней снова был длинный белый пеплос из плотной материи без рукавов, собранный в мелкие заглаженные складки и высоко подпоясанный. Чтобы не мерзнуть, Миртилла набросила на него белый же гиматий, отороченный лиловой каймой. Широкая белая лента стягивала волосы, уложенные в искусную прическу. Феокрит тоже оделся по-осеннему. Обувя ни хозяева, ни гость не снимали.

Миртилла ожидала, что перед тем как начнут пить вино, Гиперид предложит почтить возлиянием доброго демона или кого-нибудь из богов, но актер промолчал. Феокрит тоже решил не обращаться на этот раз к несуществующим небожителям. Первую чашу выпили за здоровье гостя.

Гипериду все же хотелось порассуждать о богах. Он давно, с ранней юности, в них не верил, но старался казаться верующим. Любил, чтобы о нем говорили. Актер, верующий в олимпийцев, повсюду возбуждал удивление. Гиперид и хотел, чтобы ему удивлялись. Главное — не быть, как все...

Он пришел к Феокриту, заранее решив, что будет с ним почтителен и осторожен в речах. Так и начал беседу, но старое крепкое вино, припасенное поэтом, оказалось сильнее намерений Гиперида. После нескольких чаш хиосского, только наполовину разбавленного водой,

он забыл о том, что хотел быть скромным и сдержанным. Лицо покраснело. Все чаще и чаще он смотрел на Миртиллу. Речь по привычке лилась свободно и плавно, но Гиперид говорил теперь слишком громко для беседы втроем. И руки его двигались, как в театре — красиво, но не по-домашнему. Будь это перед сценой, зрители поняли бы сразу, что благочестивый герой упрекает нечестивца, не верящего в богов.

— Говорю тебе, Феокрит, — твои песни хороши, но в них только имена богов, много имен, весь почти Олимп, а веры нет. Ты вот пишешь:

Песню, от Зевса начав, окончим мы Зевсом, о Музы...

Ты часто повторяешь имя отца богов, но сознайся, Феокрит, ты ведь в него не веришь?..

Гиперид сделал паузу, надеясь, что Феокрит вступит с ним в спор, но поэт промолчал. Щадя простодушную веру Миртиллы, он избегал говорить при ней о том, что думает о богах. Она сама догадалась. Все он знает о бессмертных, но никогда им не молится, в храмы не ходит, жертв не приносит. Жаль, что так, — вместе бы помолились...

Не дождавшись ответа, актер продолжал:

— Ты хорошо говоришь и об Афродите: «Чадо богини Дионы, владычица мощного Кипра», «многохрамная и многоименная», «Афродита, венчаная златом». Видишь, Феокрит, я прилежно читаю твои песни.

Поэт улыбнулся и утвердительно кивнул головой.

— Не надоел я тебе? — Гиперид вдруг вспомнил о своем желании казаться скромным.

— Нет, нет. Продолжай...

Актер снова взглянул на Миртиллу. Голова уже кружилась, но Гиперид заметил сквозь винный туман, что подругу Феокрита радует его речь. В блестящих внимательных глазах ласковое одобрение.

— Так вот, Феокрит, ты много и хорошо говоришь об Афродите, а веришь в нее так же мало, как и в Зевса...

Феокрит снова промолчал. Он уже жалел о том, что снова пригласил этого речистого актера. Чувствовал, что Гиперид, хотя и обращается к нему, но разглагольствует для Миртиллы. И напрасно она сняла гиматий. Захмелевший гость смотрит на ее руки, как голодный волк,



увидевший добычу. Взять бы суковатую палку да выгнать его... Но Феокрит исполняет долг хозяина. Снова наливает вино в опустевшую чашу актера. Внимательно слушает его все еще складную речь.

— Ты не веришь в Афродиту, и оттого твои хорошие слова о ней до души не доходят. А возьми Софокла...

— Он великий поэт, Гиперид, а я нет. Люблю повторять — не дано лягушке спорить в пении с кузнечиком.

— Нет, Феокрит, ты тоже великий песнопевец — говорю тебе от чистого сердца. Ты велик, но, прости меня, было бы лучше, если бы ты поменьше говорил о богах. Они у тебя не живые, а у Софокла — да, потому что он верит. Помнишь, может быть, я на пиру у Неофрона прочел стасим из «Антигоны» об Эросе?

— Конечно, помню. Ты очень хорошо его прочел.

— Оттого, что Эрос у Софокла живет, дышит, летает. Я видел его перед собой. И Афродиту вечно юную видел.

Гиперид еще раз посмотрел на Миртиллу. Внимательно слушает. Приподнялась с ложа, подперла подбородок рукой. Какие у нее глаза... огромные, радостные. Любит она любовь... Видно, что любит.

— Феокрит, а вспомни стасим из «Ифигении в Авлиде».

— Который?

— Об Афродите же... Дорогой хозяин, я пьянею, скоро язык перестанет меня слушаться, но сейчас я еще могу его прочесть.

— Буду рад, Гиперид.

Актер приподнялся. Сел, опираясь для верности на левую руку. В правой держал недопитую чашу. Она дрожала, голос порой прерывался, но в нем была искусно переданная волнующая нежность:

Чистого дай мне желанья дар,  
Нежною страстью ласкай меня.  
Буду служить, Афродита, тебе  
В венке посвященных, не в рабства цепях.

Феокрит был трезв, хотя пил вровень с актером. Грустная тревога не давала опьянеть. Он внимательно слушал и наблюдал. Глаза чтеца были устремлены на обнаженные руки Миртиллы.

Поэт сказал себе, что больше Гипериду здесь не бывать.

В гостях у Феокрита Гиперид выпил столько вина, что раб с трудом довел его до дому. На следующее утро актер все же вспомнил, что, прощаясь с ним, Феокрит пожелал счастливого плавания, хотя о дне отъезда между ними не было речи. Сказал, что небесные покровители кораблей и коней, Кастор и Полидевк, избавят синод от бурь и опасностей. Надеется, что избавят. Говорил, как будто, серьезно, а глаза смеялись. Протрезвившись, Гиперид понял, что поэт больше не желает его видеть. Должно быть, ревнует... Актер насмешливо улыбнулся. Рано начал старик. Ничего ведь еще не было. Но будет, будет...

Дни Миртиллы проходили по-прежнему. Каждое утро молодая хозяйка отправлялась с Эвноей на рынок. Иногда отсылала служанку домой и час-другой одна бродила по городу или шла в храм. После обеда отдыхали, потом, надев теплые плащи, шли гулять за город. Природа медленно замирала, краснели листья ежевики, покрытые серебристыми капельками росы. Понемногу осыпались пожелтевшие ивы. На выгонах распустились ядовитые лиловые цветы осенника. В саду Миртиллы все еще цвели поздние розы и стоял нежный терпкий запах миртовых кустов. Все было как всегда бывает осенью на берегах моря Геллы, пока еще не начались обложные дожди.

Однажды утром, проходя с Эвноей по рынку, Миртилла заметила, что в нескольких шагах за ними не отставая и не нагоняя, идет старик в темном плаще, по виду раб. Следит, подумала она. Что ему нужно?.. Вошла в посудную лавку, для вида поторговалась, вышла обратно. Хотела проверить, ушел ли раб. Он стоял, рассматривая посуду, выставленную у дверей. Взглянул на выходящих женщин, отвернулся и снова заковылял вслед за ними. Свернули в боковую улицу. Миртилла обернулась. Лысый старик поймал ее взгляд и на мгновение вынул из-под полы что-то плоское, завернутое в матерiu. Миртилла поняла сразу — таблички, письмо. Она отошла Эвною домой и, когда служанка скрылась за углом, подозвала раба. На глухой улочке никого не было. Старик низко поклонился и торопливо пробормотал:

— Прочти, госпожа, и скажи, придешь или нет...

Миртилла сломала печать. Письмо было от Гиперида. На днях он уезжает, может быть, побывает в Афинах и тогда охотно навестит мать Миртиллы. Надо только, чтобы она пришла послезавтра, когда станет заходить солнце, к статуе Пана на городском выгоне, там, где начинается дорога в Абидос. Скажет, как найти мать и что ей передать. Если не сможет прийти в этот день, пусть сама назначит, когда, но ничего не говорит Феокриту. Нельзя — они поссорились...

Миртилла увидела лицо матери так ясно, точно ее старушка была здесь, на улице Лампсака. Вспомнила, что на послезавтра Феокрит снова приглашен на пир к эпистату и, не задумываясь, ответила рабу:

— Скажи, что приду, как написано...

Сунула ему триобол и, не слушая благодарностей, быстрыми шагами пошла домой.

Давно у Миртиллы не было такой радости... Третий год шел с тех пор, как она покинула Афины. Жители ее родного города приезжали в Лампсак нередко. Случалось и Миртилле с ними встречаться, но никто не знал ее старушку, безвестную огородницу. А теперь пройдет несколько месяцев, Гиперид вернется, расскажет... Миртилла заранее его поблагодарила. Хороший он человек. Жаль, что они с Феокритом поссорились и нельзя сказать дома правду, но что же делать...

Поэт сразу заметил, что подруга чем-то обрадована. Она напевала свои любимые песни, шуточно брала его за уши, как это делают деревенские девушки со своими возлюбленными, ласкала собак. Не говорила, в чем дело, а Феокрит не спрашивал. Видел, что радость хорошая — женщина, которая обманывает того, кто ее любит, так себя не ведет. Поэт с нежностью смотрел на ее снова посвежешее лицо. Глаза блестели, улыбались пунцовые губы.— Лучше так...— думал Феокрит. Что-то скрывает, но не раз уже это с ней бывало. Молчит-молчит, потом сядет на колени, обнимет и все расскажет...

Но радость продолжалась недолго. На следующий день Миртилла затихла. Хмурилась, кусала губы. Из-за пустяка так злобно накричала на Эвною, что служанка забилась в свою каморку и долго плакала. Миртилле одолели сомнения. Не обман ли это?.. Вспомнила точно, что говорил Гиперид Феокриту о планах синода. Смирна, Милет, может быть, остров Родос... Географии

Миртилла не знала, но все же ей было ясно, что Афины не в эту сторону. О том, что актеры собираются побывать и в Аттике, совсем не было речи. И еще одна мысль мелькнула... В афинском театре всегда играли только свои, а не чужеземцы.

Радость погасла — обманывает он, завлекает... Снова и снова передумывала. А может быть, и правда... Таблички Миртилла там же на улице изломала на мелкие куски, но помнила письмо наизусть. Было там сказано «может быть». Значит, не наверное, а поговорить с Гиперидом все же надо. Иначе никогда себе не простит — могла узнать, что с матерью, и не узнала. Пока они с Феокритом соберутся в Египет, пожалуй, и зима пройдет. Актеры успеют вернуться. Если же отказаться от встречи, тогда из Александрии совсем трудно будет узнать о матери. Миртилла знала, что этот город где то далеко, далеко за морем, и плыть туда долго...

Через день, перед заходом солнца, она закуталась в плащ и, прикрыв им голову, пошла в назначенное Гиперидом место. Выгон был пуст. Обходя лепешки коровьего навоза, Миртилла вошла в рощицу пиний на песчаном пригорке. Здесь земля, усыпанная прошлогодней хвоей и шишками, была чиста. Чтобы скот не бродил по роще, набожные лаои, почитатели Пана, когда-то обнесли рощицу забором. Доски почернели от времени, но еще держались. Между сосен белел невысокий постамент. На нем виднелось черное изваяние бога. Миртилла подошла ближе. Гиперида еще не было. На герме Пана лежали красные блики заходящего солнца. Искусно врезанные в мрамор глаза пристально смотрели на женщину. Пан нахмурил низкий лоб. Полуоткрытый рот с толстыми губами насмешливо улыбался. Миртилла вздрогнула. Бог смеялся над ее легковерием. Подумала — не уйти ли, пока не поздно... Обернулась. В дверцу ограды входил Гиперид, как и она, закутанный в темный гиматий. Миртилла сжала кулаки, готовясь защищаться, но через мгновение ей стало совестно. Ласково улыбаясь, Гиперид едва притронулся к ее плечу и опустил руку.

— Сядем, Миртилла.

— Лучше постоим.

— Как хочешь... Я боялся, что ты передумаешь и не придешь.

— Нет, отчего же?.. Благодарю тебя, Гиперид.

— Подожди благодарить. Я еще ничего не сделал.

— Но хочешь сделать.

— Да, если удастся.

— Так твой синод едет в Афины?

— Может быть, Миртилла. Еще не решено. Сначала в Милет, потом на острова. Затем хотим в твои Афины...

Она вздохнула. Представила себе, как в огород матери входит этот высокий, красивый, совсем не страшный человек. Почему она его подозревала?..

Всмотрись Миртилла внимательнее в лицо актера, заметила бы, что у него раздуваются ноздри, как у хищника, готового овладеть добычей. Но она думала о матери, а Гиперид наперед решил, что на свидании ничего не случится. Своего он добьется, но не силой и не в этой роще.

Они беседовали долго. Миртилла сама предложила сесть. Солнце зашло. В густой роще стало почти темно. Временами Миртилла чувствовала, что в груди у нее проползает холодная змейка страха. Пора уходить... Мужчина, который сидит рядом с ней, должно быть, силен, как атлет. Не отбиться от него... Но Гиперид сидел спокойно, спрятав руки под плащом. Послушный голос актера звучал задушевно и тепло.

— Как ты счастлива, Миртилла,— у тебя есть мать...

— Надеюсь, что моя старушка жива, но только надеюсь. Не знаю...

— Годы твоей матери еще не глубокая старость. Боги ее сохранят.

Молодая женщина всхлипнула, и снова ей стало стыдно за свой страх. Хотелось отплатить хорошему человеку ласковым словом. Спросила:

— А твоя мать очень старенькая, Гиперид?

— Нет ее у меня. Умерла, рожая меня.

— Вот и верь людям. Мне говорили, что у тебя здесь родители.

— Отец и мачеха. Вторая мачеха, хорошая. О первой, при которой рос, не хочу и вспоминать. Натерпелся...— Голос актера дрогнул.

«Бедный... приласкать бы его»,— подумала Миртилла, но тотчас же мысленно выругала себя.

Гиперид поднялся.

— Пойдем, Миртилла. Мне надо еще кое-где побывать. Я провожу тебя.

— Нельзя... Увидят.

— Только до города. И вот что... Надо нам еще раз встретиться и поговорить подольше.

— Я тебе все сказала, Гиперид. Не потеряй только адреса матери.

— Нет, не все. Она захочет знать, как ты живешь с Феоκριтом, а об этом ты мне ничего не сказала. Обязательно надо повидаться, но не здесь...

— Почему же не здесь?

— Я хочу, Миртилла, выпить с тобой за здоровье твоей матери — и не в роще, а дома.

— Спасибо, но это невозможно. Ты сам сказал, что поссорился с Феоκριтом.

— Да, к вам я прийти не могу, но ты можешь прийти ко мне.

— Что ты говоришь, Гиперид... с ума ты сошел...

— Нисколько. Отец и мачеха сегодня уехали в Парий. Вернутся через неделю. Рабов я ушлю. Тебя встретит старуха, которая умеет молчать. Только назначь день, когда Феоκριта снова не будет дома.

— И не думай об этом. К тебе я не приду.

— Не придешь, значит, не доверяешь, а раз не доверяешь, мне нет дела ни до тебя, ни до твоей матери. Не хочешь — не надо.

В спокойном актерском голосе слышалась горькая обида. Он замолчал и ждал ответа. Миртилла тоже молчала. Ей хотелось плакать.

— Ну, что же Миртилла, — да или нет?

— Поклянись, что ты меня не тронешь.

— Клянусь Зевсом.

— Хорошо... ненадолго приду.

— Когда?

— Через три дня. Феоκριта позвали на охоту. Но помни, Гиперид, что ты поклялся.

— Да, Миртилла. Если нарушу клятву, пусть меня покарает отец богов.

Три дня показались Гипериду длиннее трех недель. Он был доволен собой — игра удалась. Теперь Миртилла — его. Еще ни одна женщина, согласившаяся прийти к нему на дом, не уходила, не побывав на его ложе. Для большей верности подольет в вино любовного напитка — себе немного, ей побольше. Не будет ни отби-

ваться, ни царапаться. Сама попросит тушить пожар. Потом, как водится, будут слезы, но ненадолго... Опять придет.

В тот вечер, когда Гиперид ждал Миртиллу, солнце медлило закатываться. У актера все было готово. Два ложа (вначале пусть будет два) с полосатыми шелковыми подушками, между ними низкий стол, уставленный блюдами, кратер с ключевой водой, вина, два одинаковых темно-зеленых кувшинчика — один с маслом, другой с напитком любви. Был приготовлен и подарок для гостыи — серебряный ларец для драгоценностей. Не знает же Феокрыт всех ее вещей... Когда-то в Смирне актер выпросил этот ларец у влюбленной в него гетеры.

Гиперид выбритый, надушенный, одетый в только что разглаженный хитон, то и дело подходил к окну и смотрел на солнце. Оно распухло, обратилось в красный мяч, но все еще висело над холмами Херсонеса Фракийского. Наконец солнце скрылось, начало темнеть. Вот-вот должна была прийти Миртилла. На улице ее ждала старая рабыня, привычная к делам хозяина.

Минуты шли. Гостыи все не было. Гиперид ходил взад и вперед по комнате, пожимал плечами, злился. Надо же ей опоздать... Наконец послышались шаги. Актер быстро оправил хитон, приготовил улыбку. Старая рабыня вошла и вынула из-под плаща табличку, перевязанную шнуром.

— Кто принес?

— Какая-то служанка. Сразу ушла...

Гиперид схватил письмо, распечатал, поднес к недавно зажженному светильнику. Видя, как изменилось лицо хозяина, рабыня поскорее вышла из комнаты. Прибьет...

Табличка, старательно исписанная крупным неумелым почерком, гласила:

«Миртилла — Гипериду.

Все, что ты мне сказал,— ложь. Ты отказался от родной матери, откажешься и от клятвы. Больше ты меня не увидишь.»

Гиперид швырнул табличку на пол, растоптал. Этого было мало — пинком опрокинул стол. Посуда разбилась, потекло вино. Актер тяжело дышал. Сердце колотилось, горело лицо, горели уши. Неистово ругаясь, он присел на ложе. Перед глазами стоял туман. По полу растека-

лись кроваво-красные лужи, и в них отражалось мигающее пламя светильника. Злобно кусая губы, отвергнутый любовник пробормотал:

— Вот ты как... Погоди же — узнаешь меня...

Дрожащими руками он схватил с ларя приготовленную про запас амфору с неразведенным вином и, не отрываясь, принялся пить. Потом повалился на ложе.

Многоопытный актер играл искусно. На свою беду переиграл, желая разжалобить юную женщину воспоминаниями о тяжелом детстве. Его поведение в роце и клятва Зевсом успокоили Миртиллу. Было стыдно обманывать Феокрита, но она еще раз сказала себе, что измены не будет, а ради матери от этого свидания отказаться нельзя. Чтобы не обидеть Гиперида, выпьет самую малость — и домой. Он же верит в богов — не то что другие... Колебалась, трусила, но всякий раз успокаивала себя мыслью о том, что верящий в Зевса убоится его гнева.

У варваров нет бога случая. У эллинов он есть. Много в жизни смертных зависит от того, чего предвидеть нельзя. И Гиперид не мог предвидеть того, что в самый день назначенного свидания Миртилла пойдет на рынок одна, споткнется, рассыплет купленные орехи, и их поможет собрать проходившая мимо старуха, бывшая кормилица актера. Поблагодарив услужливую рабыню и одев ее орехами, Миртилла с ней разговорилась. Конечно, ничего не сказала о Гипериде, но словоохотливая старуха сама принялась рассказывать, как она была сначала кормилицей, а потом нянькой этого знаменитого человека.

— Вот как...— Миртилла старалась казаться спокойной. — Скажи, а его первая мачеха очень плохо с ним обращалась?

Старуха удивленно посмотрела на Миртиллу.

— Кто это тебе сказал?

— Люди говорят.

— Наврали тебе, красавица. Не было у него мачехи — ни первой, ни второй. Мать и сейчас жива и отец тоже. У них он и живет. Что с тобой? Побелела как...

— Голова что-то закружилась. Пройдет, пройдет... Посидеть? Нет, уже все... Я тороплюсь. Прощай...



Миртилла дала удивленной рабыне полдрахмы и пошла домой. Шла, как могла, быстро. Почти бежала. Феокрита с раннего утра не было дома. Сам он не охотился, но любил иногда побродить вместе с охотниками. Миртилла легла на кровать и, не отвечая на расспросы испуганной Эвной, долго рыдала, уткнувшись головой в подушку. Потом принялась писать. Обняв служанку, заставила ее поклясться, что ни о слезах, ни о письме Гипериду она никому не расскажет — ни теперь, ни после.

Феокрит вернулся поздно ночью. Миртилла спала. Утром ей показалось, будто она выздоравливает после тяжелой болезни. Когда-то в Афинах еще при жизни отца у нее была жестокая лихорадка. Родители думали, что девочка уйдет в Аид. Три недели горела, как в огне. Когда приходила в себя, плакала от невыносимой боли в голове. Одну ночь было так плохо, что смерти ждали с часу на час, но к утру наступил перелом. Больная вспотела, пришла в себя, улыбнулась родителям и впервые спокойно заснула. Все это рассказали ей после. Сама Миртилла помнила только блаженное время выздоровления. Понемногу стала выходить на воздух. Ложилась на овчину под старым вязом, росшим посреди огорода. Мать сидела рядом, штопала белье, рассказывала сказки. И никогда солнце не было так ласково, никогда так звонко не пели дрозды и так не пахла мята на грядках...

Теперь Миртилла думала о том, что лодка ее жизни едва не утонула, но в самую последнюю минуту боги ввели ее в гавань. Конечно, сказала она себе, Феокрит ее любит, и она любит Феокрита. Было наваждение злых демонов, тех, что разлучают жен с мужьями и сталкивают в пропасти одиноких путников. Было, но больше не будет. Этот человек — ее муж, она родит ему ребенка, а прошлое — забудется. Не она одна так...

Феокрит навсегда запомнил эти дни. Снова он был счастлив. Гроза прошла, в дом Миртиллы, его дом, вернулась радость. Юная подруга опять была весела и спокойна. Опять нежно и чуть стыдливо ласкала его, как в те дни, когда они вдвоем бродили по горам Троады и Кебрены.

Через неделю после того как Миртилла не пошла к Гипериду, Феокриту сообщили, что его разыскивает купец, приехавший из Александрии.

Письмо было от Конона. Царский звездочет сообщал, что при дворе ничего не знают о речи Феокрита на каком-то пиру у какого-то неведомого эпикурейца. Был когда-то сикионец\* Неофрон, который сочинял плохие трагедии, а об Неофроне из Лампсака никто не слышал.

«Ты испугался своей тени,— писал Конон.— Возвращайся поскорее. Царица Береника уже несколько раз спрашивала, куда ты пропал и не съели ли тебя волки. Она надеется, что ты напишешь энкомий в ее честь. Каллимах прославил ее волосы, но ей этого мало. Теперь очередь за тобой. Выбирай любую часть тела царицы и бери стилос. Приезжай, дорогой друг, и да сохранит тебя Аполлон, если он в самом деле существует и занимается делами поэтов».

Феокрит бережно сложил длинное послание веселого звездочета и поспешил домой сообщить Миртилле долгожданную весть.

#### XXIV

Опустевшие улицы затопило лунное серебро. Черными обелисками стояли неподвижные кипарисы. Ночь была прохладная, но от быстрой ходьбы поэту стало жарко. Он распахнул гиматий. Дойдя до дому, взялся, как обычно, за кольцо калитки и постучал им о дерево. Служанка не выходила. Постучал сильнее и, повернув кольцо, с удивлением увидел, что калитка не заперта. Не раз уже Эвноя забывала задвинуть засов, и Феокрит сказал себе, что надо ее как следует пробрать. Обокрадут в конце концов...

Что это?.. Все окна домика освещены. Что?.. Что?.. С отчаянным плачем бежит навстречу Эвноя.

— Госпожу... закололи...

Покачнулся. Перед глазами черно. Пустота. Ужас.

— Умерла?

— Умирает...

Вбежал в комнату. Ничего не видит, кроме дорогого лица. Какой-то старый человек встает, уступая место. Миртилла уже не здешняя. Восковая статуя. Глаза закрыты, на губах розовая пена. Феокрит опустился на колени, прильнул губами к бессильно повисшей руке.

\* Уроженец города Сикиона (на южном берегу Коринфского залива, в Средней Греции).

Врач поднял поэта, увел в сени.

— Спаси ее... Отдам все, что у меня есть... Спаси...

Старик-врач берет его за руку.

— Она умирает, Феокрит... Сделать ничего нельзя.

Мужайся...

Холод в ногах. Закрывает лицо руками, всхлипывает.

— Да что я буду делать без Миртиллы?..

Вернулись в комнату, Феокрит наклонился к самому лицу подруги, зовет:

— Миртилла... Миртилла...

Она медленно открывает огромные блестящие глаза. Узнает. С трудом шепчет:

— Феокрит... милый... я ни с кем... веришь?

— Верю, радость моя...

Снова падает на колени, рыдает, целует холодеющую руку.

— Родная... не уходи...

Она хочет ответить и не может. Хрип, хрип, клокотанье в груди. Врач вытирает пену с губ. Дает ложку вина.

Умирающая медленно шепчет слово за словом:

— Нет... солнца мне больше не видеть... вовеки...

Прощай, Феокрит... Живи...

— Радость моя... жизнь моя..

Текут слезы по щекам поэта, неудержимо текут. Миртилла затихла. Глаза открыты, но уже не видят тех, которые здесь. К ней подходит мать, наклоняется, целует в губы. Грудь больше не болит. Тишина. Покой. Засыпая, Миртилла улыбнулась и прошептала последнее слово: — Мама...

Она умерла незадолго до рассвета. Приняв последний вздох подруги и закрыв ей глаза, Феокрит долго смотрел на мертвое лицо любимой.

— Козочка... Не уберег я тебя...

Снова обняв рыдающего поэта, врач увел его в сад. Эвноя рвала на себе волосы, по-деревенски голосила, катаясь по полу. Женщины-соседки вместо нее грели воду для обмывания покойницы.

Весть о том, что подругу Феокрита убили, разлетелась по городу быстро. Целый день приходили в домик под тростниковой крышей знакомые и незнакомые — со-

седи, гетеры, почитатели поэта, узнавшие об его горе. Эпистат прислал своего секретаря. Начальник гарнизона пришел сам. Пришел плачущий Херсий с венком из тисса, престарелый стоик Филоксен. Биограф Идоменей поставил под траурное ложе лекиф — тонкогорлый кувшинчик с душистым маслом. Еще цвели в садах Лампсака поздние розы, и много их нанесли в комнату умершей.

Она лежала на низком ложе ногами к выходу. Умашенное благовониями тело было завернуто в белоснежное полотно и усыпано алыми розами из сада Миртиллы. Кругом стояли прислоненные к ложу венки. Приносили все новые и новые. Приносили и лекифы — кувшинчики горя. Пока жила юная женщина, много было у нее завистниц, а не стало ее, и смягчились сердца. Самим когда-то придется умереть. Может быть, скоро... В комнате стоял запах вянущих цветов и мирры\*. Еще не примешивался к ним страшный запах смерти.

В домике никто не разговаривал. Плакали. Порой начинали громко причитать женщины-простолюдинки. Соседские дети пугливо жались к дверям.

Беседовали в саду. Заплаканной Эвное много раз пришлось рассказывать одно и то же. Она провожала госпожу из гостей. Недалеко совсем и не очень поздно. У калитки стоял какой-то мужчина в коротком хитоне — должно быть, раб. Пошел навстречу. Поравнявшись с Миртилкой, всадил ей в грудь нож и убежал.

Было ясно всем — кто-то его подослал. Мужчины спрашивали приметы убийцы. Эвное ничего не запомнила — перепугалась. Начала кричать. Прибежали соседи, внесли раненую в дом. Вот и все... Кончив рассказ, Эвное снова принималась рыдать: — И в гости почти никогда не ходила... А тут... — Не хотелось ей верить, что нет больше той, которая была и госпожой и подругой, какой век не найти. Рыдала и от горя и от страха. Ни в чем она не виновата — велели отнести письмо, она и отнесла. Но, наверное, в этом письме все дело. А как дознаются и начнут пытаться...

Весь день Феокриту пришлось быть на людях, выслушивать слова сочувствия, жать руки, благодарить за то, что почтили умершую. Ночью он остался с ней наедине. Велел и Эвное до утра не входить в комнату.

---

\* Душистая смола некоторых южных деревьев.

Из сада лился холодный воздух лунной ночи. Рядом с ложем горел одинокий светильник. Как всегда, чирикал за ларем сверчок, Феокрит сидел неподвижно и, не отрываясь, смотрел на лицо мертвой подруги.

Ушла... Ушло его счастье... последняя радость жизни... Родная, милая, маленькая... он вспомнил, как смеялась Миртилла, когда он так ее называл. Маленькая... А завтра ее заруют... И опять нахлынула неудержимая волна слез. Феокрит зарыдал и, упав на колени, прижался лбом к полотну, под которым было холодное неподвижное тело.

Он провел в комнате мертвой всю долгую уже осеннюю ночь. Несколько раз подливал масла в светильник, чтобы видеть ее лицо. Думал. Если бы знать, что, умерев, можно свидеться с Миртиллою, умер бы теперь же... Но не ведаем мы ничего о том, что ждет нас за гробом. Вернее всего, что ничего... И он решил жить. Допишет песню о любимой и, пока живет речь эллинов, будет жить и его Миртилла\*.

На рассвете Эвноя осторожно приотворила дверь. В кресле у ложа Миртиллы сидел старый человек и спал. У измученного поэта не хватило сил...

Когда поутру в домик снова начали собираться люди, пришедшие на экфору — выносу тела, — они увидели, что у Феокрита голова стала совсем седой.

Миртиллу похоронили за городом близ дороги из Лампсака в горы. Когда тело под звуки флейт и вопли плакальщиц проносили мимо дома башмачника Гедила, он вспомнил, как весной шли здесь рано утром Феокрит, его подруга и рабы. Теперь эти же рабы в черных одеждах несли убранные цветами носилки.

Могильный холмик насыпали под одиноким развесистым платаном. Вблизи от него протекает тихо журчащий ключ, и почти весь год зеленеет мягкая трава.

Поэт заказал искусному каменотесу мраморную доску с эпитафией, но поставят ее только весной, когда слежится и осядет земля.

Через несколько дней после похорон эпистат позвал Феокрита и спросил, кого же он подозревает в убийстве.

---

\* До нас дошли не все идиллии Феокрита. Среди сохранившихся песен о погибшей в Лампсаке подруге нет.

Поэт не мог назвать ни одного имени. Про себя думал — не Гиперид ли, но доказательств не было никаких... Кроме Эвной, никто ничего не знал, а она, оплакав покойницу, ушла в свою деревню. Синод актеров отправился в Милет.

Вскоре отплыл домой в Александрию и Феокрит. Надо было спешить, пока не началась осенняя непогода.

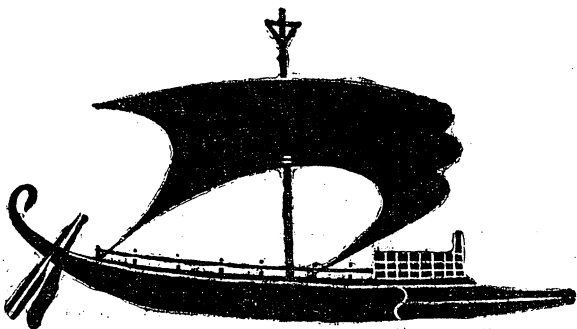
Утро выдалось ясное и на удивление теплое. Ветра не было. Нагие гребцы мерно налегали на тяжелые весла. Закутанная в плащ флейтистка, словно звонкий кузнечик, наигрывала свою бесконечную песенку. Пахло морем, людским потом и смолой. Вокруг корабля носились крикливые чайки.

Феокрит стоял на корме, опершись о дощатый борт. Прикрыл голову гиматием, чтобы соседи не видели, что у него текут слезы. Быть может, когда-нибудь, вспоминая погибшую подругу, поэт скажет вместе со своим пастухом Коридоном:

— Батт, приободришь, дружок!

Свои песни пока забылись. В них много радости, немало и горя, но нет сожаления о том, что живешь на свете... А покидая Лампсак, Феокрит об этом жалел. Видя, как за мыском навсегда скрывается город Миртиллы, он шептал стихи Софокла:

Высший дар — нерожденным быть;  
Если же свет ты увидел дня,—  
О, обратной стезей скорей  
В лоно вернись небытья родное...



Редактор С. САНБАЕВ

Художник А. БЕЙСЕМБИНОВ

Худож. редактор

М. КИСАМЕДИНОВ

Техн. редактор П. ВАЛЬЧУК

Корректоры М. КАЦ и

А. СОКУЛЬСКАЯ

Сдано в производство 14/III-69.  
Издат. № 163. Подписано к печати  
27/VII-69 г. УГ03688. Бумага тип. № 1.  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>=7,0 п. л.=16,38 усл. п. л.-  
(Уч.-изд. л. 12,55).  
Тираж 50000 экз. Цена 56 коп.

Заказ № 276. С матриц типографин  
№ 2 отпечатано Полиграфкомбинатом  
Главполиграфпрома Госкомитета  
Совета Министров КазССР по  
печати, г. Алма-Ата, К. Маркса, 63.



### **К ЧИТАТЕЛЯМ!**

Ваши отзывы и пожелания об этой книге просим направлять по адресу: г. Алма-Ата, проспект Коммунистический, 105, издательство «Мазушы».

56 к.